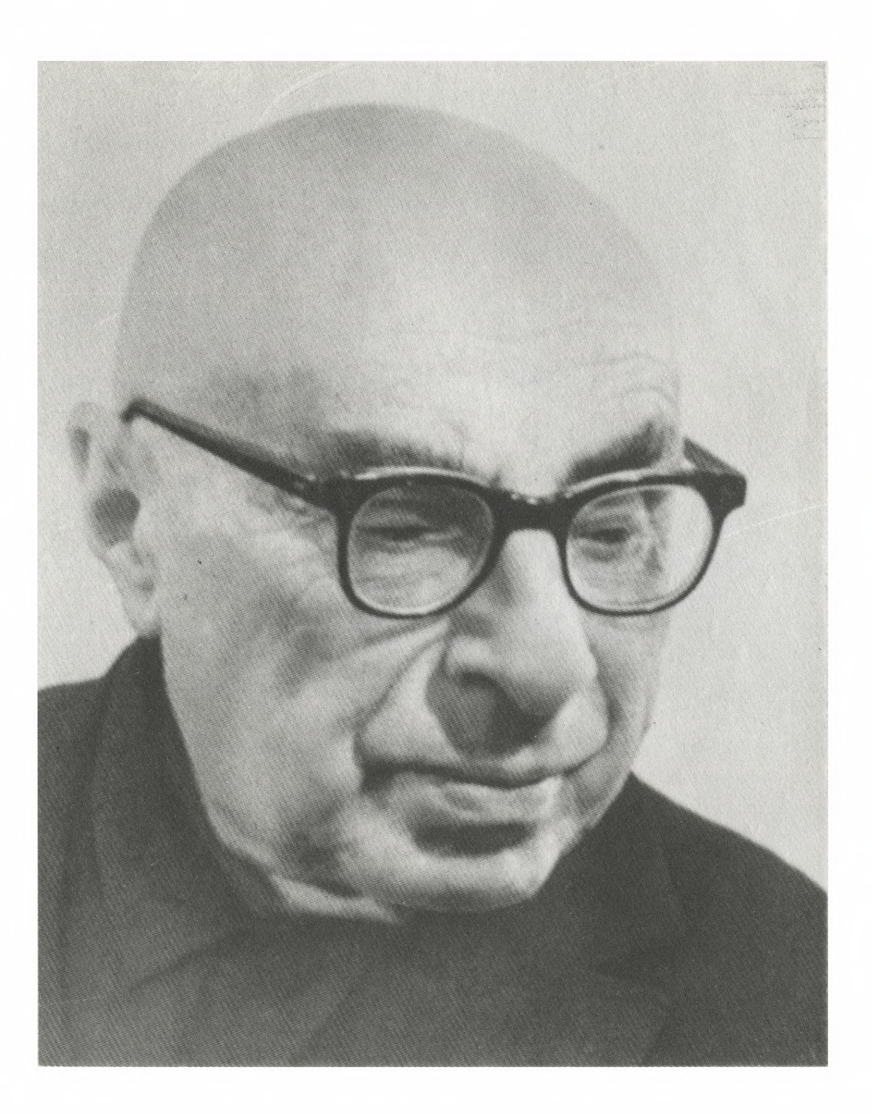
А. Р. ПАЛЕЙ

А. Р. ПАЛЕЙ

Встречи на длинном пути

Воспоминания



А. Р. ПАЛЕЙ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
1990

Художник *АНАТОЛИЙ МЕШКОВ*

Палей А. Р.

П 14 Встречи на длинном пути: Воспоминания.— М.: Советский писатель, 1990.— 256 с.

ISBN 5—265—01166—8

Цель старейшего писателя А. Р. Палея — сделать достоянием читателей свои воспоминания об известных и не очень известных писателях, журналистах, издательских работниках и т. д. Воспоминания охватывают в основном первую половину XX века. В поле зрения автора историк литературы и библиограф С. А. Венгеров, писатель и библиограф Н. А. Рубакин, чей труд «Среди книг» высоко оценен В. И. Лениным, и многие другие. Существенная черта книги — А. Р. Палей сам активный участник событий, о которых пишет.

П $\frac{4702010201-147}{083(02)-90}$ 101—90 ББК 84 Р7

*ВАЛЕНТИНЕ ЖАВОРОНКОВОЙ —
ДРУГУ И СОТРУДНИКУ*

Несбыточней бывшего нет ничего.

И. Северянин

Вот что мне однажды написал весьма серьезный писатель Лев Успенский:

«Я бы в указном порядке учредил «Мемуариздат» и потребовал, чтобы каждый сэксаженэр[1] и выше, как воинскую повинность, отбывал бы писание воспоминаний. Мы просто обязаны все вспомнить, все это полустолетие. Под угрозой судебной ответственности! Потом-то некому будет, брехать начнут!»

«Мемуариздата» у нас нет. Его функции очень неплохо выполняет ЦГАЛИ, выпуская через издательство «Советская Россия» альманахи «Встречи с прошлым». Но то, что входит в эти альманахи, берется из архивных фондов. За сохранность этих фондов можно смело поручиться, и постепенно их содержание становится доступно широким читательским слоям. Но кто может поручиться за целость того, что хранится в памяти у нас, не только семидесятилетних, но и «выше»? И не всё, нет, не всё ложится в архивы.

Что я имею в виду, излагая эти воспоминания?

О таких людях, как Н. А. Рубакин, А. Г. Горнфельд, С. А. Венгеров, писали немало. Но есть детали, черточки, нюансы, которые — и это вполне естественно — мог подметить и вспомнить лишь один человек. Они не долж-

---

[1] Так в письме.

ны пропасть ни для читателей, ни для историков литературы.

Меньше говорилось о таких советских писателях, как Ефим Зозуля, В. Ковалевский, Нина Смирнова, Д. П. Якубович, М. Поступальская. Писали об их работах, а о них самих — почти нет. Но память о личности писателя должна сохраниться.

Можно сказать, что уже никто не знает о талантливом, умершем молодым Георгии Бломквисте.

Кто помнит сейчас старого писателя Д. Я. Айзмана, колоритную фигуру журналиста Николая Шебуева? А они имели свои аудитории, и многочисленные, к тому же характерны для своего времени.

Думаю, что стоит вспомнить таких своеобразных редакторов начала нынешнего века, как Н. А. Каспари, Н. В. Корецкий, баронесса Таубе.

Не должна быть забыта обаятельная личность «комиссара гимназии», безвестно погибшего В. Г. Зерчанинова, одной из ранних жертв белогвардейского зверства. И по-своему замечательна фигура репортера Григория Семешко.

Людей, с которыми мне приходилось встречаться, я старался показать в реальных условиях времени, обстановки, окружения.

«Заочные встречи» с М. Горьким, К. Циолковским тоже, как мне кажется, в чем-то дополняют широко известные образы этих выдающихся людей.

Близясь к концу своего десятого десятилетия, я вспоминаю тех, кого сберегла моя память. Пимен был вряд ли старше меня. И все же жаловался:

Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходят до меня,
А прочее погибло невозвратно...

Так вот — чтобы не погибло...

ПОДВИЖНИК КНИГИ.
С. А. ВЕНГЕРОВ

В 1916 году я приехал в Петроград в качестве студента психоневрологического института.

Это было весьма оригинальное высшее учебное заведение, и название отнюдь не дает полного представления о его подлинном характере. То был настоящий университет с различными факультетами — как естествоведческими, так и гуманитарными. Только университет не государственный, а основанный общественными организациями. Программы и порядок обучения в нем были направлены на то, чтобы воспитывать не узких, а всесторонне образованных специалистов. Поэтому курс обучения продолжался на год более, чем в государственных университетах, и был составлен следующим образом.

Чтобы закончить медицинский факультет, требовалось не пять, а шесть лет. Первый курс был общеобразовательным — будущие врачи проходили гуманитарные предметы.

Программа юридического факультета укладывалась не в четыре, а в три года — за счет интенсивности занятий. Но перед этим надо было пройти два годовых курса общеобразовательных предметов. Будущие юристы знакомились также с анатомией, физиологией, только в объеме не медицинских факультетов, а фельдшерских школ. Курс же русской литературы был обязателен для всех факультетов[1]. Но и название института — психоневрологический — было совсем не случайным. Недаром одним из его главных руководителей был В. М. Бехтерев, психиатр, невролог. Вопросам психоневрологии уделя-

[1] Общеобразовательные курсы были выделены в особый факультет. Впоследствии психоневрологический институт был преобразован во 2-й Ленинградский медицинский институт.

лось особое внимание — в первую очередь, конечно, на медицинском факультете.

Помещался институт на далекой окраине Петрограда, именовавшейся Царским Городком. Доехать туда можно было либо дачным (по-нынешнему — пригородным) поездом, либо паровичком. Паровичок, связывавший Царский Городок с центром Петрограда, был прямым потомком конки, которую я уже не застал. Он выглядел весьма архаично рядом с более прогрессивным городским транспортом — трамваем. Об автобусах, троллейбусах, а тем более метро и помину не было. Паровичок состоял из двух старомодного и тогда уже вида вагончиков: локомотива и прицепа. На крышу вагончика вела узкая и довольно крутая лестница. Места на крыше стоили дешевле, но по приезде иные пассажиры представляли собой малопривлекательное зрелище: густая копоть фантастически разукрашивала их лица, особенно когда ветер дул со стороны локомотива. Тяговая сила этого локомотива была невелика, пропорциональна его размерам, и паровичок двигался медленно. Часто ему не удавалось преодолеть сразу выгиб моста через Фонтанку, тогда он давал задний ход, пятился, а затем с размаху силился справиться с этим препятствием. Порой попытку приходилось повторять.

Я поступил на юридический факультет. Русскую литературу читал С. А. Венгеров. Аудитория на его лекциях была переполнена: он пользовался большой популярностью и как выдающийся исследователь литературы, и как увлеченный лектор — это увлечение передавалось слушателям. Приходили студенты со всех факультетов, с разных курсов.

Обрамленное черной бородой лицо профессора напоминало портреты поэта Фета. Мимика его была очень выразительна, черные глаза сияли, когда он, внимательно глядя на свою аудиторию, словно бы обращался к каждому слушателю в отдельности.

Читал нам Венгеров вовсе не то, что было в учебнике. Конечно, мы должны были сдать определенный курс. Но профессор считал, что мы и сами можем читать по книгам историю литературы, нам же на лекциях рассказывал о своих текущих работах в области пушкиноведения. Это необычайно углубляло наш интерес к литературе. Даже студенты младших курсов начинали постигать, что история литературы, как и всякая история,— предмет беспрерывно развивающийся.

Столь же интересен был и пушкинский семинарий, который Семен Афанасьевич вел у нас, как и в университете, где он также был профессором.

Иногда после занятий, возвращаясь домой, профессор часть дороги проделывал пешком. Как-то мне случилось быть его попутчиком. Разговорились. Я тогда уже был начинающим стихотворцем, печатал стихи в журналах. Наметились какие-то точки соприкосновения, и Семен Афанасьевич пригласил меня к себе домой, на Загородный проспект. Здесь он занимал две квартиры на одной площадке: в одной жил с семьей, в другой стояли книги — около двадцати пяти тысяч томов. Ту огромную библиографическую, критическую и литературоведческую работу, которую вел Венгеров, невозможно было бы выполнять без значительного количества книг под руками. Книги заполняли всю эту квартиру, полки располагались не только вдоль стен, но и поперек комнат. Впрочем, и в жилой квартире книг было немало.

Мне не раз приходилось быть гостем Семена Афанасьевича. В его семье царила радушная атмосфера. Семья была многочисленная и дружная. Сестра Семена Афанасьевича, З. А. Венгерова (жена поэта Н. Минского), была известной переводчицей и критиком-литературоведом.

Отношение студентов к С. А. Венгерову определялось прежде всего глубоким уважением к его неустанному трудовому подвигу. Да, его неутомимую разносторон-

нюю деятельность без всякого преувеличения можно назвать подвигом. Объем работы был так велик, что трудно даже представить себе, как мог вести ее один человек. Он работал как литературовед, редактор, организатор. Вел специальные исследования (главным образом о Пушкине), писал критические труды. Составлял многотомный «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» и «Материалы» к нему — исключительно кропотливая и трудоемкая работа. Выпустил под своей редакцией и со своими комментариями сочинения классиков мировой литературы, в том числе Пушкина и Белинского. Впервые в нашей стране организовал Книжную палату. Был инициатором издания «Словаря языка Пушкина» и начал эту работу еще в бытность мою студентом психоневрологического института. Мы, группа его учеников, приняли в ней участие на подготовительной стадии: по его указаниям заполняли карточки, я присылал их ему из Екатеринослава. Каждое слово выписывалось с соответствующим контекстом. Можно представить, как велик должен был быть объем этой работы в целом.

Словарь был подготовлен и вышел в свет много позже смерти Венгерова. Не знаю, использовали ли его составители наши карточки[1].

Семен Афанасьевич также писал и печатал множество статей о русской литературе, в том числе для энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, где он вел соответствующий отдел.

И все это — кроме большой преподавательской работы.

Сделанное Венгеровым не одинаково ценно. Можно,

---

[1] «Словарь языка Пушкина». Ответственный редактор академик В. В. Виноградов. В предисловии сказано, что подготовка материала начата в 1933 году, а в 1938 году издание словаря приобрело прочную базу. Об инициативе Венгерова и начатой им работе над словарем не упомянуто.

например, спорить с его взглядами как критика и литературоведа. Но в целом его заслуги бесспорны и велики.

В условиях царской России Семен Афанасьевич был настроен вполне прогрессивно. С 1899 до 1906 года он был отстранен от преподавания в государственном университете Петербурга за «левизну». А одно время скрывал у себя на квартире писателя-революционера П. Ф. Якубовича, которого разыскивали жандармы и которому грозила смертная казнь. Это было чревато крупнейшими неприятностями.

Вскоре после февральской революции, когда занятия в вузах разладились, я уехал в Екатеринослав, но знакомство с Венгеровым продолжалось. Мы обменивались письмами, в том числе и деловыми.

Подготовку карточек для словаря Пушкина я продолжал в Екатеринославе, отсылая их Венгерову почтой.

Осенью 1917 года я получил от него следующее письмо:

«*Петроград, 21 сент. 1917*

Благодарю за помощь[1], № газеты[2] еще не получил. Что Вы поделываете? Я безумно завален работой, несмотря на то, что нет университетских занятий, совсем заела. Книжная палата — масса организационной работы, своего рода библиографическая новь. Для Вас бы сейчас нашлась работа, хотя и скромно оплачиваемая: рублей 200—250 за 5 часов. Будет ли позднее — не знаю.

Ваш *С. Венгеров*»[3].

Ранее благодаря своему колоссальному труду Венгеров зарабатывал немало, но львиная доля его заработка

---

[1] То есть за карточки.

[2] Я послал Венгерову номер местной газеты с моей статьей о готовящемся словаре.

[3] Письма С. А. Венгерова находятся в ЦГАЛИ.

уходила на составление картотеки писателей и ученых и на приобретение книг, без которых он не мог обходиться. Все же на скромную жизнь с семьей хватало. Теперь заработки сократились до минимума, продовольственное положение резко ухудшилось. А организм уже был подорван многолетней титанической работой.

Начиналась гражданская война, связь между севером и югом нарушилась. В 1919 году до нас дошло печальное известие — к счастью, преждевременное — о кончине Венгерова. Я поместил в местной газете некролог. Как хорошо, что он не смог попасться Семену Афанасьевичу на глаза!

Увы, ненадолго опередило преждевременное грустное сообщение подлинное событие: уже в следующем году Семен Афанасьевич скончался от дизентерии.

«КНИЖНЫЙ ЧЕРВЯК». Н. А. РУБАКИН

Мое знакомство с Н. А. Рубакиным началось через переписку, и вот как.

Николай Александрович был широко известным популяризатором и выдающимся библиографом. Его капитальный труд «Среди книг» высоко оценен В. И. Лениным. Менее известна та гигантская работа, которую Рубакин проводил со множеством читателей в индивидуальном порядке.

Одно время он вел отдел работы с читателями в самой распространенной газете дореволюционной России «Русское слово», издававшейся И. Д. Сытиным. В газете систематически печатались руководящие статьи Рубакина по вопросам самообразования.

Однако эти статьи были лишь надводной частью гигантского айсберга — той работы, которой занимался здесь Рубакин. Он предлагал читателям обращаться к нему за рекомендацией книг для чтения. Читатель должен был сообщить круг своих интересов, уровень образования, указать, что́ он уже прочел, ответить еще на некоторые вопросы, характеризующие его личность. В ответ приходило подробное письмо, в котором перечислялись рекомендуемые книги, не только наиболее подходящие этому читателю по кругу интересов и степени подготовки, но и соответствующие по характеру изложения его личным особенностям, душевному складу — словом, его читательскому типу. Так, например, при рекомендации книг Николай Александрович учитывал, преобладает ли у читателя эмоциональная сторона или он скорее рационалистичен. Если читатель, покончив с этими книгами, обращался с просьбой о дальнейшей рекомендации, то ему указывались такие, которые могли поднять его знания на следующую ступень. Книги не

только назывались, но и характеризовались. Получался своеобразный университет на дому, причем обучение соответствовало индивидуальным особенностям каждого учащегося в отдельности.

В этой огромной кропотливой работе Рубакину помогали секретари, но бо́льшую часть ее выполнял он сам, даже письма обычно писал от руки своим характерным и, правду говоря, малоразборчивым почерком.

Будучи еще зеленым юношей, я прочел одну из статей Рубакина в «Русском слове» и обратился к нему за рекомендацией книг, указав, какие отрасли знания меня интересуют, и сообщив требуемые сведения о себе. В ответ пришло подробное письмо — Николай Александрович точно указывал, что́ именно и почему он мне советует прочесть[1].

В дальнейшем я посылал ему некоторые свои стихи и всегда получал подробные доброжелательные отзывы. В ту пору я отправлял стихи во многие журналы. Иные редакции их печатали, другие отвергали. Случалось, что стихотворение, не принятое в одном месте, охотно публиковали в другом. Это приводило малоопытного автора в недоумение, и однажды я спросил Николая Александровича, как объяснить это. Рубакин ответил кратко но исчерпывающе: «В журналах печатаются не те стихи, которые хороши или плохи, а те, которые нравятся редакторам».

Зная, что круг корреспондентов Н. А. Рубакина очень велик, некоторые обращались к нему не только по вопросам самообразования. Однажды к нему обратился такой же молодой человек, как и я, ученик херсонской гимназии, с просьбой дать адреса подходящих ему по типу людей, с которыми он мог бы вступить в переписку. В числе адресов, сообщенных ему Рубакиным, оказался и мой. Вскоре этот юноша приехал ко мне

[1] Письма Н. А. Рубакина находятся в ЦГАЛИ.

в Екатеринослав для личного знакомства. Это был известный впоследствии физиолог академик ВАСХНИЛ Б. М. Завадовский. Знакомство оказалось прочным — оно продолжалось до смерти ученого.

А в 1912 году мне посчастливилось лично встретиться с Рубакиным, когда я, будучи еще гимназистом, приехал в Швейцарию для лечения и оказался в курортном городке Кларане, возле фешенебельного курорта Монтре. Рубакин жил в Кларане, эмигрировав из России в 1907 году.

Побережье Женевского озера — один сплошной курорт. Здесь и Монтре, и более скромные — Кларан, Шильон с воспетым Байроном средневековым замком, а выше в горах — Глион и Ко. Синее озеро расстилается, как море, в прозрачном воздухе белеют снежные вершины, и случается, что ветер с гор заносит вниз снежную пыль и она тает на лепестках цветущих роз. Чудесный уголок, здесь легко дышится и хорошо работается.

Впрочем, я давно там не был, не знаю, как все это выглядит сейчас, в условиях нынешнего кризиса. Одно твердо знаю — об этом писали в газетах: прелестное Женевское озеро уже не то — оно отравлено свинцом — отходами заводов.

Но тогда многие выдающиеся люди избирали это место прибежищем, когда на родине им было плохо. Жил и работал здесь Ленин во время своей вынужденной эмиграции. Здесь, в горах над Клараном, жил, умер и похоронен Чарли Чаплин.

Приехав в Кларан, я, конечно, немедленно побежал к Рубакину. Он, как Венгеров в Петрограде, занимал две квартиры на одной площадке: в одной помещалась его огромная библиотека, в другой, очень скромно обставленной, жил он с семьей.

Николаю Александровичу было тогда пятьдесят лет. Он оказался очень приветливым и гостеприимным человеком. Случалось мне прогуливаться с ним по побе-

режью озера, доходили до Монтре и шли обратно. Совестно было отнимать время у Николая Александровича, но я утешался тем, что пешие прогулки при его сидячем образе жизни нужны ему.

Однако неверно бытующее у некоторых представление о Рубакине как о домоседе, замкнутом кабинетном работнике. Наоборот, он любил окружать себя молодежью. Мне довелось однажды принять участие в организованной им студенческой экскурсии. Небольшую группу студентов он повез в один из швейцарских городов (не припомню, в какой) к проживавшему там П. И. Бирюкову — известному биографу Льва Толстого.

Какая это была увлекательная поездка! Ведь Бирюков долго и близко общался со Львом Николаевичем, написал его четырехтомную биографию. Все, что он рассказывал, пожалуй, было знакомо нам из книг, газет, журналов, выходивших при жизни Толстого. Но каждая мелочь, поведанная живым голосом вот тут рядом присутствующего человека, делящегося своими непосредственными впечатлениями, приобретала особую окраску, словно интимное звучание. А в заключение мы услышали и голос самого Льва Николаевича из тогдашнего далеко еще не совершенного аппарата — граммофона с широким раструбом. Голос пробивался сквозь какое-то шипение, порой прерывался, но это был голос Льва Николаевича.

В 1913 году, окончив гимназию, я приехал продолжать образование в Женевском университете. Расстояния в Швейцарии невелики, и мне удавалось от времени до времени видеться с Николаем Александровичем. Несмотря на большую занятость, он был очень общителен. У него были многочисленные знакомства в среде русской политической эмиграции, одним из главных центров которой была тогда Женева.

Передо мной возник вопрос о заработке. Николай Александрович предложил мне со следующего учебного

года работать одним из секретарей по переписке с читателями. Я с радостью принял его предложение, но воспользоваться им не удалось: летом 1914 года я уехал домой на каникулы, вскоре началась первая мировая война, и я уже не возвратился больше в Женеву. Но переписка с Рубакиным продолжалась.

Впоследствии Рубакин переехал в швейцарский город Лозанну, где основал институт библиопсихологии. Интерес к психологии восприятия читателями содержания книг был доминирующим на протяжении всей его жизни.

После Великой Октябрьской революции Николай Александрович не возвратился на родину: он был уже стар, ему трудно было оставить насиженное место, подняться со всей своей огромной библиотекой. Но связи его с родной страной не только не ослабели, а, наоборот, крепли. Он продолжал переписываться со знакомыми. Рубакин считал себя и был действительно советским гражданином, получал от нашего государства пенсию и завещал ему свою ценнейшую библиотеку. Сейчас она, сохраняя свою целостность, входит в состав библиотеки имени В. И. Ленина, имея отдельный шифр «РБ». В числе многих других мне неоднократно доводилось пользоваться этим незаменимым фондом.

Я храню подаренный мне Рубакиным портрет. Николай Александрович снят за письменным столом. Широкий лоб, густые с проседью, зачесанные назад волосы. По обычаю того времени, у него густые усы и борода, тоже с проседью, и от этого лицо на первый взгляд кажется суровым. Но если вглядеться внимательнее, оно очень доброе, а глаза вдумчивые и проницательные. Надпись на портрете характерна для Рубакина: после обращения следует: «...на добрую память о книжном червяке. Н. Рубакин. 1914.

Только тот себя переживет,
Кто, служа великим целям века,

Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата-человека.

Пусть эти стихи Н. А. Некрасова будут Вам заветом».

Эти строки — его собственное жизненное кредо, завет, которым всегда руководствовался этот замечательнейший представитель русской интеллигенции.

Только, откровенно говоря, я не считаю удачным в применении к нему образ «книжного червяка». Книжный червяк — разрушитель книг. А Рубакин — их созидатель и бережный хранитель. Кроме замечательной работы «Среди книг», он написал немало научно-популярных книг, трудов по вопросам чтения, по психологии читателей — и все это помимо громадной организационной работы, помимо руководства чтением и самообразованием многих людей.

ПРЕВОЗМОГШИЙ СУДЬБУ.
А. Г. ГОРНФЕЛЬД

В начале двадцатых годов, живя в Петрограде, я отнес свои стихи в тонкий ежемесячник, который назывался, как помнится, «Записки Дома литераторов». Спустя несколько дней через одного из общих знакомых получил приглашение от связанного с этим журналом А. Г. Горнфельда посетить его.

Восторгу моему не было границ. Раз Горнфельд приглашает — значит, ему понравились стихи. Горнфельд был крупный критик и литературовед, в прошлом член редакций «Русского богатства» и «Русских записок», где он работал в ближайшем сотрудничестве с В. Г. Короленко, П. Ф. Якубовичем (Л. Мельшин) и другими прогрессивными литераторами.

Жил Горнфельд недалеко от Московского вокзала, на восьмом этаже большого дома. Лифты в ту пору в Петрограде не работали, но для молодого человека это не было препятствием. Сильно волнуясь, я позвонил. Открыл сам Аркадий Георгиевич. Меня не предупредили, как он выглядит, и внешность его меня поразила: очень маленький рост, как у подростка, к тому же хромой и горбатый, вся фигура изломанная. Непропорционально большая голова с широким лбом. А взгляд умный, приветливый, с затаенной грустью.

Позже мне рассказали, что, когда Горнфельд был совсем маленьким, нянька уронила его, были искалечены позвоночник и ноги. Такая страшная травма нарушила все функции организма, и он болел всю жизнь, однако дожил до старости. Это объясняется его необычайным жизнелюбием, сильной волей и постоянным напряженным трудом.

Я постарался скрыть тяжелое впечатление, произведенное внешностью Горнфельда. Впрочем, это впечат-

ление быстро сгладилось — таким живым, интересным и остроумным собеседником оказался Аркадий Георгиевич.

Выяснилось, что он вовсе не пришел в восторг от моих стихов и не собирался их печатать. Но кое-что в них его заинтересовало, и он пригласил автора для личного знакомства. И опять-таки не потому, что автор показался ему чем-либо особенно примечательным. Дело в том, что из-за тяжкой инвалидности Горнфельд почти нигде не мог бывать: он и по своей-то квартире передвигался с трудом. А интерес к людям у него был огромный, поэтому он охотно приглашал к себе многих, особенно, конечно, разных представителей литературной среды. Разговаривая с ним, посетители забывали о его внешности — настолько увлекательны были его оживленные беседы, меткие суждения, острые, а порой злые и в то же время доброжелательные шутки. Да, тут была своеобразная двойственность: с одной стороны, он был, несомненно, доброжелателен к людям, а с другой — озлоблен из-за того, что жизнь его сложилась так тяжело. Ведь из-за своей инвалидности он остался вечным холостяком. Не знаю, была ли знакома ему женская ласка,— вряд ли. Но он интересовался всем кругом человеческих взаимоотношений. Его суждения — печатные о литературных явлениях и устные о жизни, о знакомых ему людях — не оставляли сомнений в том, что он великолепно разбирался в их переживаниях.

Как-то одна моя знакомая, элегантная женщина лет тридцати, упросила меня познакомить ее с Горнфельдом, и я, с его разрешения, привел ее к нему. Аркадию Георгиевичу доставляло большое удовольствие беседовать с ней, хотя ее интересы были довольно далеки от литературных. Ему было приятно, что она проявляет к нему внимание, приносит цветы. Он, несомненно, любовался ею, но всячески скрывал это. Его такт, самолюбие и щепетильность гарантировали от малейшей тени назойли-

вости. Разумеется, ни о каком романе не могло быть и речи. Впоследствии, когда эта женщина переехала в Москву и я там жил, Аркадий Георгиевич в письмах ко мне передавал ей приветы.

Я упомянул об озлобленности. Однако она относилась лишь к жестоко обидевшей Горнфельда судьбе. Сдержанный и самолюбивый, он никогда не жаловался, лишь один раз, насколько мне известно, в печати глухо и печально сказал об этом. В его статье «Слепой музыкант и слепой критик» (о «Слепом музыканте» В. Г. Короленко) есть такая фраза: «Все обобранные, все исковерканные, все для полноты бытия и, в сущности, для бессмертия рожденные и этой полноты не познавшие, мы разнообразны в судьбах и еще разнообразнее в душах».

Я часто бывал у Горнфельда и долгими, но казавшимися мне очень короткими часами беседовал с ним, предпочитая слушать его. При этом я узнавал некоторые подробности его жизни.

Он родился в обеспеченной семье севастопольского нотариуса, получил хорошее образование. В детстве и молодости неоднократно бывал за границей. Это может показаться странным, если и по своей квартире он передвигался с трудом. Но ведь пользоваться транспортом он мог.

Однажды мы, трое молодых друзей Аркадия Георгиевича, помогли ему съездить в Крым к его близким родственникам, у которых он и до того неоднократно бывал. Спуститься по лестнице, как и подняться по возвращении, было ему, конечно, трудно, но все остальное — значительно проще. На извозчике мы доставили его на вокзал, по платформе до вагона довезли, при содействии носильщика, на багажном автокаре. А по прибытии на место его, разумеется, встретили на вокзале.

Быт Горнфельда был своеобразен и в большой степени определялся его физическим состоянием. В те годы Петроград был слабо заселен, и Горнфельд целиком за-

нимал свою довоенную квартиру из трех или четырех комнат. Но жить один не мог, так как нуждался в постоянном уходе. В одной из комнат жила немолодая приветливая девушка, которая где-то работала и в то же время заведовала его хозяйством. Жила в квартире и домработница.

Случилось так, что мне пришлось без предварительного приглашения воспользоваться гостеприимством Горнфельда.

В 1924 году, 23 ноября, в Ленинграде произошло наводнение, мало отличавшееся по высоте воды (меньше чем на полметра) от наводнения, происшедшего сто лет назад (7 ноября 1824 года) и описанного Пушкиным в «Медном всаднике».

Я жил на Петроградской стороне. В этот день я направился в центр города по каким-то делам. Дул ветер. Постепенно он усиливался, и наконец дошло до того, что полетели обломки кровельного железа: ведь многие крыши были неисправны. Это было довольно опасно, приходилось идти с оглядкой. Зазвенели разбитые стекла, неподалеку со стуком ударилась о тротуар оконная рама. Вдруг я увидел такую картину: налетевший порыв ветра раздел проходившую по Невскому женщину — он сорвал с нее платье и вывернул его наизнанку, она осталась в одном белье и, едва успев схватить платье, чтобы его не унесло, скрылась в ближайшем подъезде.

Начала стрелять пушка, сигнализируя о подъеме воды.

Закончив свои дела в центре, я направился — не помню уж зачем — на Фонтанку, в Союз писателей. Но туда не попал: набережная была залита водой и дорога отрезана. Собственно говоря, ничего в этой картине не было страшного, но почему-то до сих пор иногда вижу ее во сне: рябь небольших волн там, где полагается быть суше, и медленно-медленно прибывающая вода. Дальше идти было нельзя, пришлось вернуться.

Пушка продолжала стрелять — методически, с размеренными промежутками, ветер то дул сильно, упорно, так что идти против него было трудно, то на мгновение стихал, чтобы вновь налететь с яростью.

Я медленно дошел до Невского и решил ехать домой. Но трамвай, в который я сел, вскоре остановился: дальше двигаться было невозможно. Пассажиры начали расходиться. Кондукторша расплакалась. Подождав немного, я вышел на площадку, соскочил — и провалился в холодную воду по щиколотку: оказалось, торцовая мостовая Невского всплыла — под ней уже была вода.

Тогда я решил отправиться домой пешком. Смеркалось. Люди нервничали, торопились. Пушка продолжала глухо стрелять через одинаковые промежутки времени: вода, значит, все прибывала.

Ветер в зависимости от того, в какую сторону мне приходилось поворачивать, то со страшной силой упирался в грудь, то бил в спину так, что стоило огромных усилий идти, а не бежать.

Когда я дошел до моста, уже стемнело. Свет фонарей отражался в воде, разбиваясь на бесформенные куски. У моста собралось много людей, но сильный наряд милиции никого не пропускал. Одна женщина с истерическим криком пыталась прорваться:

— У меня там дети!

— Дети ваши, наверно, дома,— уговаривал ее милиционер,— не сидят же они под открытым небом. А вы домой все равно не попадете, там все залито.

В толпе говорили, что Петроградская сторона и Васильевский остров на метр залиты водой, там ездят на лодках.

Убедившись, что домой не попасть, я решил отправиться ночевать к Горнфельду. Без приглашения — телефона под рукой не было. Идти пришлось пешком, сквозь свирепый сырой ветер: трамваи по Невскому не ходили.

Горнфельд и его домочадцы радушно приняли меня. Я позвонил к себе. Соседи по квартире подтвердили, что весь район покрыт водой: Васильевский остров и Петроградская сторона лежат ниже, чем центральная часть города.

Наутро обнаружились печальные последствия наводнения. Материальные убытки были велики. Говорили, что имеются человеческие жертвы, правда немногочисленные. Во всяком случае, потерь было несравненно меньше, чем в 1824 году: другое время, другие порядки.

У Горнфельда была хорошо подобранная библиотека. Это собрание книг было большим подспорьем в его работе, так как он не мог посещать публичную библиотеку.

Иногда мы с Горнфельдом совершали «прогулки». Они состояли в том, что мы сидели на балконе,— это была его единственная возможность бывать на свежем воздухе, если не считать редких выездов в Крым.

Море крыш простиралось перед нами. Внизу дворы и улицы были по большей части пустынны. Можно было без конца слушать воспоминания Аркадия Георгиевича о его встречах с Короленко, о собственном жизненном пути, отзывы о людях и книгах — на все беседы ложился яркий, неповторимый свет, состоявший из блестящей эрудиции, проницательного ума, жадного интереса к жизни и порой веселой, порой грустной иронии,— так солнечный свет состоит из ярких многоцветных лучей спектра.

Во время беседы Горнфельд сидел неподвижно, жестикуляция его была скупа. Но это с избытком восполнялось быстрой сменой выражений лица, очень живого, энергичного, некрасивого — и одухотворенного, то задумчивого, то улыбающегося. В этой улыбке знающего и ценящего жизнь мудреца нередко проскальзывало что-то от Мефистофеля. И от Гейне что-то было в этой улыбке человека, познавшего глубину страдания и личной

скорби и сумевшего подняться над ними для широкого ви́дения мира.

Нуждаясь в уходе, Горнфельд должен был расходовать на свою жизнь значительно больше, чем здоровый человек. Советское государство было тогда еще очень небогатым, и в первые годы моего знакомства с Горнфельдом он не получал пенсии. Но в деньгах не нуждался. Он много и с увлечением трудился — писал, переводил, составлял внутренние рецензии на рукописи для Петроградского отделения Госиздата и выполнял другие работы для издательства. Много раз переиздавалась в его отличном переводе «Легенда об Уленшпигеле» Шарля Де Костера.

В 1926 году я переехал на постоянное жительство из Ленинграда в Москву. Возникла систематическая переписка с Горнфельдом[1]. И вот в 1928 году я получил от него письмо, которое меня встревожило.

Аркадий Георгиевич писал, что оказался в тяжелом материальном положении. Вероятно, потому, что он не мог лично бывать в издательстве, а также потому, что не в его характере было настойчиво напоминать о себе, но кто-то забыл о нем в Ленгизе. Заказы на различные работы прекратились, и средства к жизни иссякли.

Зная, как щепетилен Горнфельд, как не любит он жаловаться, я понял, что положение серьезное, и тотчас же написал М. Горькому в Сорренто.

Так как с Горьким мне приходилось ранее переписываться, он немного знал меня. Из печатных высказываний Горького мне было известно, что он высоко ценил Горнфельда как критика и литературоведа и относился к нему с большим уважением. Кроме того, Горький, по моим расчетам, вскоре должен был встретиться на Лейпцигской книжной ярмарке с тогдашним директором Госиздата Халатовым, и я попросил писателя поговорить с

---

[1] Письма А. Г. Горнфельда находятся в моем фонде в ЦГАЛИ.

Халатовым, чтобы Горнфельду снова предоставили работу. Чем старее становился Горнфельд, тем сильнее мучили его недуги, но ум был ясен и остер по-прежнему, и он был вполне работоспособен.

Горький, не откладывая дела в долгий ящик, немедленно прислал мне записку в издательство «Известия». По этой записке я должен был получить из причитавшегося писателю гонорара пятьсот рублей для Горнфельда. По тем временам это были немалые деньги. Но Горький не собирался ограничиться этой суммой. Он писал мне, что другую сумму по его поручению должен будет передать Горнфельду писатель А. Б. Дерман. Горький подчеркнул в своем письме, что Горнфельд не должен знать о происхождении этих денег[1].

Такое условие поставило меня в тупик. Горнфельд знал, что мои заработки были очень скромными и я не мог выделить из них такую сумму. Если имя Горького не могло быть названо, то что же мог предположить Горнфельд? Очевидно, то, что я за его спиной произвел сбор среди писателей или без его разрешения занял для него деньги.

Зная крайнюю щепетильность Горнфельда, я не сомневался, что он не примет денег при таких обстоятельствах и, кроме того, будет смертельно обижен. Поэтому я возвратил Алексею Максимовичу его записку в издательство «Известия», объяснив, что при поставленном им условии поручение невыполнимо и Горнфельду нужен заработок, а не денежная помощь.

Горький мне больше не писал об этом, но Горнфельд вскоре сообщил, что с Ленгизом все улажено. По всей вероятности, Горький действительно переговорил с Халатовым.

Этот эпизод, ярко характеризующий заботу Горького

---

[1] Это письмо Горького опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1967, № 10.

о писателях, к сожалению, не нашел отражения в «Летописи жизни и творчества А. М. Горького».

А вскоре разрешился вопрос о государственном обеспечении: Горнфельду была назначена академическая пенсия, весьма по тем временам солидная.

Незадолго до смерти (он умер в 1941 году, семидесяти четырех лет) Горнфельду выпала большая радость: переехала из Крыма и поселилась с ним горячо любимая семья родственников. С восторгом написал он мне, что кончилось его долголетнее одиночество, что он теперь окружен семейным уютом и заботой. Это скрасило конец его жизни.

До последних дней Горнфельд активно работал в советской печати, помещал в газетах и журналах критические и литературоведческие статьи, выпустил ряд книг. Широкое и разностороннее образование, прекрасное знание иностранных языков позволяли ему исследовать творчество не только русских, но и иностранных писателей. Например, блестяще написана книга «Как работали Гете, Шиллер и Гейне» (М., кооперативное издательство «Мир», 1933) — как будто только о технологии творчества этих писателей, на самом деле с глубоким проникновением в мир созданных ими образов.

О разнообразии и интенсивности работы Горнфельда может дать представление хотя бы его открытка от 30 марта 1933 года. Чтобы не разрывать текст, привожу ее целиком:

«Многоуважаемый Абрам Рувимович, книгу я сдал в «Мир»[1], но появится ли она, все еще не выяснилось. Сдал и предисловие к рукописи Короленко в ГИХЛ. Теперь редактирую и перевожу Гейне. Не склонны ли Вы поговорить в Гос. Медиц. Изд-стве (Никольская, 19), почему они не отвечают на мое письмо от 24 октября (!).

---

[1] Речь идет, помнится, о вышеназванной книге этого издательства.

Я требовал у них гонорар (за перевод Даннемана[1]). Очень обяжете. До свидания, всего лучшего. А. Г.».

Как реликвии храню я несколько подаренных им мне своих книг, и особенно «Боевые отклики на мирные темы» (Л., «Колос», 1924). Это сборник небольших статей того жанра, который принято сейчас называть «эссе». Заглавие книги в точности соответствует содержанию. Речь идет о литературных явлениях, отделенных от нас уже рядом десятилетий. Но, несмотря на это, статьи читаются с живейшим интересом — в них сквозит острый, энергичный, заражающий темперамент критика, язык сборника образный и лапидарный, даже афористический.

Значительная часть литературного наследия Горнфельда сохраняет свою ценность и в наши дни. Недаром Горький широко рекомендовал начинающим писателям прочесть его книгу «Муки слова».

---

[1] Даннеман Ф. История естествознания. Перевод с немецкого А. Г. Горнфельда. М., Гос. мед. изд-во, 1932.

ФЕДОР СОЛОГУБ

В начале двадцатых годов Петроградское отделение Союза писателей возглавлял Федор Сологуб (Ф. К. Тетерников). То был еще прежний Союз писателей, в него входило немало стариков, которых нынче уже нет в живых, и не все они, разумеется, заслуживают память потомства.

Стройная высокая старуха Е. П. Султанова-Леткова нередко появлялась в помещении Союза писателей. Уже тогда она была почти забыта, а во второй половине XIX века ее произведения, в которых отстаивалась весьма актуальная для того времени идея женского равноправия, пользовались широким признанием читателей.

Куда хуже ее выглядела М. В. Ватсон. А это была заслуживающая глубокого уважения, известная писательница, автор квалифицированных переводов с испанского, но особенно прославившаяся биографией поэта С. Я. Надсона, проникнутой горячим сочувствием. Эта биография печаталась во всех многочисленных изданиях стихов поэта, выпускавшихся дореволюционным Литературным фондом.

Часто встречал я В. С. Миролюбова. Это была колоритная фигура — плотный, слегка сутулый, но еще крепкий, хотя и очень немолодой человек. Ходил он с толстой, гладко обструганной и некрашеной дубинкой, которая играла, по-видимому, чисто декоративную роль: вряд ли она была удобна как трость.

Миролюбов в то время был уже не у дел, но в истории русской журналистики он заслужил подлинную славу — не как писатель, а как, я бы сказал, поэт редактуры. В дореволюционные годы он редактировал и, по-видимому, сам издавал «полутолстый» ежемесячник «Журнал для всех». Стоимость годовой подписки на это издание была неправдоподобно низка — один рубль. Это было

возможно только потому, что журнал имел весьма значительный по тем временам тираж. Он пользовался большой популярностью, так как Миролюбов сумел привлечь лучшие тогдашние литературные силы. Он обладал замечательным художественным чутьем и нередко наряду с известными именами печатал молодых талантливых дебютантов, смело выводя «в люди» новых выдающихся писателей. Авторитет «Журнала для всех» был настолько высок, что даже известные писатели считали честью печататься в этом скромном на вид издании.

Живая и энергичная А. Ганзен, очень известная тогда переводчица со скандинавских языков, помимо своей большой литературной работы, занималась тем, что сейчас делают Литературный фонд и бытовая комиссия Союза писателей: всячески помогала писателям, особенно пожилым, в нелегком тогдашнем быту.

Не всех членов Ленинградского отделения Союза писателей можно было встретить на людях. Интересуясь его составом, я просматривал напечатанные на машинке списки — тогда еще не было печатных справочников — и, к огорчению своему, увидел в одном списке фамилию В. П. Буренина — того самого сотрудника черносотенного «Нового времени», который, по свидетельству М. В. Ватсон, печатно травил тяжелобольного Надсона и тем ускорил его конец. Вот уж кому не место здесь было!

Имя Федора Сологуба сохранится в истории русской литературы, хотя творчество его было весьма неровным и далеко не все написанное им можно признать ценным.

Это был видный писатель-декадент, имя которого часто упоминалось рядом с именами Бальмонта, Брюсова и других известнейших тогда поэтов. В те годы, когда я его знал, Сологуб уже был больным стариком и жить ему оставалось недолго, в чем он ясно отдавал себе отчет. И внешность, и манеры его были привлекательны. Уже при первом общении с ним чувствовалось, что имеешь

дело с талантливым человеком. Его удлиненное лицо с темной морщинистой кожей часто бывало приветливым и в то же время озорным. Речь Сологуба изобиловала острыми афоризмами и парадоксами.

Однажды, когда он председательствовал на собрании поэтов, молодые люди читали сравнительно неплохие стихи, общим и главным недостатком которых была подражательность. Участники обсуждения указывали на это. Сологуб сказал в своем заключительном слове, что придет такой поэт, который ограбит всех предшественников, и то будет великий поэт. Фразу эту следовало додумать, и тогда мысль Сологуба становилась ясна: подлинный поэт не пренебрегает творческим наследием предшественников, он использует его, переплавит в своем творческом горне и создаст произведения, отличающиеся яркой поэтической самобытностью.

В другой раз, когда речь зашла о графоманах, Сологуб заявил, что настоящий писатель всегда графоман. И в этом парадоксе по зрелом размышлении обнаруживалось зерно справедливой мысли: для подлинного писателя творческий процесс неодолимая потребность и вне зависимости от того, можно ли в скором времени печататься, он стремится беспрестанно работать над своими произведениями.

В беседах с Сологубом приходилось слышать меткие, проницательные суждения о людях, даже о тех, которых он, казалось бы, мало знал. Это говорило о его наблюдательности — очень ценном для писателя качестве.

Взгляд на писательский труд у Сологуба был своеобразный, часто спорный, но интересный. «Беру кусок жизни бедной и грубой и творю из него сладостную легенду, ибо я поэт»,— горделиво заявляет он в одном из своих романов. Однако «Мелкого беса» и «Навьи чары» никак нельзя признать «сладостной легендой», хотя и есть в них ряд талантливых страниц. Скорее от этих произведений веет мрачностью, пессимизмом. А в жизни

Сологуб был не таков, даже в последние, старческие и больные, годы, да еще омраченные личной трагедией: в 1921 году покончила жизнь самоубийством его жена А. Н. Чеботаревская, окружавшая мужа неусыпной заботой. Он был доброжелателен, а порой не чуждался веселой, насмешливой, но беззлобной шутки. Однажды на заседании правления Союза писателей, когда обсуждался вопрос о материальной помощи нуждающимся литераторам, он, глядя на одну молодую писательницу, декольтированную несколько свыше меры, сказал своим глуховатым, прерывающимся от одышки голосом (это придавало его речи какую-то внешнюю серьезность, забавно контрастирующую с насмешливым содержанием): «У нас есть также нуждающиеся члены правления; некоторые из них не имеют даже средств, чтобы купить себе рукава».

Умер Сологуб в 1927 году. Не все из созданного им пройдет сквозь беспощадное сито времени — но пройдет.

КАК М. ГОРЬКИЙ РАБОТАЛ С МОЛОДЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Все началось так, как обычно бывало с Алексеем Максимовичем, если считать обычными его совершенно необычайную трудоспособность и такое же необычайное внимание к людям.

Весной 1917 года я послал в редакцию газеты «Новая жизнь», издававшейся в Петрограде при ближайшем участии А. М. Горького, стихотворение «Война войне» (первая империалистическая война длилась уже почти три года). Письмо я адресовал лично Горькому. Почему? Да потому, что хорошо было известно: все адресованное ему Горький читает и сам же отвечает.

Прошло небольшое время — куда меньшее, чем требуется сейчас для ответа из большинства редакций. И вдруг — вы только представьте себе восторг молодого стихотворца! — приходит открытка, написанная характерным почерком Алексея Максимовича: буквы стоят раздельно, не сцеплены между собой:

«Милостивый Государь!

Стихотворение Ваше будет напечатано в одном из ближайших №-ов.

Буду рад, если Вы пришлете стихи для «Летописи»[1].

Свидетельствую мое уважение.

А. Пешков

22.V.17».

Я к тому времени уже печатался в разных газетах и журналах, но получить одобрение от Горького — это была оглушительная радость! А ведь то было несомненное одобрение.

Конечно, я немедленно отобрал несколько стихотво-

[1] Журнал, в то время выходивший под редакцией Горького.

рений, которые мне показались более удачными, и послал их Алексею Максимовичу.

И опять скоро пришел ответ.

Письмо Горького меня потрясло. Ведь кому он отвечал? Очень малоизвестному автору, совсем молодому человеку. Да и стихи на этот раз его не удовлетворили. Но как было написано письмо! Вот оно:

«Г-ну А. Палей.

Разумеется, чувству поэта все должно быть понятно,— ощущения слона и ежа, мудреца и проститутки. Однако — есть области, где мы бессильны понимать, и таковой является область психики рабочего. Поверьте — не одними чувствами мести, зависти, злобы живет этот класс,— в его душе есть что-то воистину новое и ценное. Мы привыкли фиксировать, подчеркивать в нем общечеловеческое,— я уверен, что этим мы задерживаем в душе рабочего рост нового отношения к жизни. Рабочий по профессии своей — творец новых вещей — не забывайте об этом!

Литература, фиксируя в русском дворянстве его отрицательные черты, тем самым способствовала — отчасти — исчезновению положительных.

Извиняясь за это предисловие, скажу Вам, что стихотв. «Рабочий» мне положительно не нравится и по форме и по содержанию. Конец — запоздал. «Урочный день» — уже пришел, и классы считаются. Очень жестоко.

В «Листопаде» целые три строчки испорчены частыми повторениями немузыкальных звуков «ж», «ш». Этого надо избегать всюду, где того не требует закон аллитерации или желание усилить образ звукоподражанием, желание гипнотизировать читателя.

Не употребляйте «ужей».

«Я бросаю копытами пыль» — что за кентавр?

И не думаю, что строки:

— ...этот самый обманчивый яд
Не отравит меня *никогда!*[1]

Подождите говорить столь решительно. Вдруг — отравит? Возможно.

Если Вам угодно знать это — у Вас несомненное дарование, но Вам необходимо много и упрямо работать над ним.

Все присланные стихи мне кажутся недостаточно прочувствованными, сделанными спешно. Так — нельзя. Надо беречь себя.

Желаю всего доброго.

А. Пешков

6.VI.17
Кронверкский проспект, 2».

Здесь кое-что требует пояснения.

Стихотворение «Рабочий» кончалось такими строками, обращенными к капиталистам:

И день придет — и в день урочный
Мы посчитаемся с тобой.

Другое стихотворение, о котором говорит Горький, касалось чтения книг, в нем были такие строки:

Я бросаю копытами пыль на бегу
На страницы нечитаных книг.

Подразумевалось, что речь идет о седоке колесницы. Неловкий оборот речи дал Горькому повод язвительно упомянуть о кентавре.

«Обманчивым ядом» в стихотворении было названо чтение книг. И предсказание Горького полностью оправдалось: автор стихотворения стал завзятым книголюбом.

Прошло еще некоторое время. Стихотворение «Война войне» все не появлялось в печати. Я написал Горькому письмо, в котором осведомлялся о судьбе этого стихотворения. Горький не замедлил с ответом:

---

[1] Фраза не дописана Горьким.

«Стихотворение Ваше потеряно, будьте любезны прислать копию. Пришлите стихов для сборника литературного, в котором будут участвовать Бунин, Замятин, Тренев, я, вероятно — Блок, Брюсов и т. д.

Приветствую.

А. Пешков»[1]

Надо ли говорить, что стихи я послал тут же!

Но ответа уже не получил. События развивались бурно, стремительно. Горький уже не успел ответить мне, удовлетворили ли его присланные на этот раз стихи. Обстоятельства сложились так, что ни в «Новой жизни», ни в сборнике стихи мои не появились, да я и не знал, вышел ли тот сборник, поскольку название его Алексей Максимович не сообщил.

И все же от этой переписки осталось исключительно радостное впечатление — так приятно было выраженное в письмах великого писателя внимание и столь серьезное, заботливое отношение. Горький, конечно, понимал, что я с восторгом приму участие в подготовляемом им сборнике, даже если мне не станет заранее известно, что в нем будут опубликованы произведения перечисленных им крупных писателей. Но он считал своим долгом одинаково серьезно и уважительно разговаривать с большими и малыми, с авторитетными писателями и молодыми литераторами. В этом сказывалась его характернейшая черта — уважение к человеку вообще.

Первые два письма Горького напечатаны в журнале «Литературное обозрение» (1974, № 12). Третье публикуется полностью впервые, а частично опубликовано в журнале «Русская литература» (1987, № 4), в статье Н. Н. Примочкиной «М. Горький и Е. Замятин». Здесь же сообщено, что упомянутый Горьким сборник, который предполагало выпустить издательство «Парус», так и не вышел в свет.

---

[1] Оригиналы писем сданы в Архив Горького, фотокопии хранятся у меня.

ЕФИМ ЗОЗУЛЯ

В 1926 году я переехал из Ленинграда в Москву, и передо мной встал вопрос о постоянной литературной работе. Один из друзей порекомендовал меня Ефиму Зозуле, и я направился в редакцию журнала «Огонек».

Меня встретил тридцатипятилетний, слегка полноватый, но очень подвижный черноволосый человек. Он был доброжелателен, однако явно очень загружен. Разговор его был краток, деловит. Ему уже рассказали обо мне, и он предложил писать очерки для «Огонька».

Ефим Давыдович был ближайшим помощником М. Е. Кольцова. Трудно даже бегло очертить круг занятий неутомимого Михаила Ефимовича. Он заведовал отделом фельетонов в «Правде» и сам систематически помещал в газете острые фельетоны, всегда вызывавшие большой общественный и политический резонанс. На заре советского самолетостроения принимал в этом деле самое горячее участие. Был инициатором и, конечно, самым деятельным организатором большого подмосковного курорта. Если задуманное не удалось осуществить, то отнюдь не по его вине. Позднее он сыграл весьма значительную роль в Испании во время гражданской войны, о чем рассказано в книге Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». В Москве Кольцов организовал «Жургаз» — журнально-газетное издательство.

Зозуля принимал ближайшее участие в редактировании и издании «Огонька» и библиотеки «Огонек». Четыре часа, которые он проводил в этой редакции, были насыщены работой до предела. Помимо прочих занятий, ему приходилось общаться со многими авторами. Конечно, далеко не всем им можно было давать положительные ответы относительно их произведений. Тут Ефима Давыдовича неизменно выручали его такт, спокойствие. «Сейчас я его очарую»,— бросал он секретарше, подхо-

дя к телефону. И действительно, по большей части ему удавалось облечь отказ в столь благожелательную форму, что незадачливый автор клал трубку с таким ощущением, словно его рублем одарили, и лишь затем соображал, что, в сущности, произошло.

Но не всегда проходило так гладко. Один известный поэт до того расстроился из-за непринятого стихотворения, что поднял оглушительный крик и стучал палкой по столу Зозули. Однако Ефиму Давыдовичу и тут не изменила выдержка: он продолжал говорить с поэтом ровным тоном, успокаивал его.

Служебные дела Зозули не ограничивались редакцией «Огонька». Оттуда он шел в редакцию еженедельника «Прожектор», помещавшуюся поблизости, во дворе здания, где сейчас находится редакция «Известий». Здесь он проводил еще часа два. Но был уже не редактором, а занимался технической редактурой, делал макет очередного номера.

Безусловно, Ефим Давыдович был не только писателем, но и журналистом, знавшим и любившим журнальное и газетное дело на всех его стадиях — от писания очерков, корреспонденций, фельетонов до литературной и технической редактуры. Когда в редакции «Прожектора», сняв пиджак и засучив рукава, он ловко орудовал ножницами и клеем, то делал это так же любовно и вдохновенно, как писал новеллы.

Но прежде всего он был, конечно, писателем. Именно потому однажды всерьез рассердился на меня, когда я поддался нажиму одного технического работника редакции.

Дело было так. Зозуля находился в отъезде, а в «Огоньке» в это время шел мой рассказ. Мне позвонил товарищ, делавший макет номера:

— Рассказ не влезает в полосу. Необходимо сократить двадцать строк.

Естественно, я огорчился:

— Нельзя ли как-нибудь иначе?

— Что вы! Эти двадцать строк будут висеть колбасой на следующей полосе!

Я приехал в редакцию и с мясом вырезал по нескольку строк из разных абзацев.

Вернувшись, Зозуля сурово отчитал меня:

— Кто для кого — писатель для техреда или техред для литературы? Зачем вы безропотно сдались? Не ваша забота, как будут оформлять номер. Нельзя резать авторский текст.

Он был стопроцентно прав, но увы! Как часто в дальнейшем резали текст — и даже не только по техническим причинам, и даже в стихах!

Свой литературный путь Зозуля начал еще до революции в одесских газетах очерками, бытовыми зарисовками. И нетрудно заметить, что его проза родилась в тесной близости к газете. Этим, пожалуй, и объясняется «малоформатность» его произведений той поры. Лишь позднее он начал писать вещи более крупные по размерам, но романистом так и не стал. Впрочем, может быть, не успел стать. Его жизненный и творческий путь оборвался рано. А он мечтал о долгой трудовой жизни. В 1928 году в предисловии к сборнику критических статей о нем, выпущенному издательством «Academia» (серия «Мастера советской литературы»), Зозуля писал: «Хочу много работать. Хочу долго жить. Литература — тягучее, хлопотное, длинное предприятие. Для того чтобы серьезно заняться ею, нужно 40—50 лет, а для этого надо дожить хотя бы до 75».

Тогда это казалось вполне достижимым и ему самому, и тем, кто хорошо его знал. Он был полон энергии и оптимизма. Бодрость его заражала окружающих — работников редакций, посетителей, друзей. Он был ревностным физкультурником, именно физкультурником, а не спортсменом — ни в каких соревнованиях не участвовал, но неплохо плавал, греб, катался на коньках. Все

это способствовало поддержанию в нем постоянной жизнерадостности, трудоспособности. Словом, характер у него был, как раньше говорили, сангвинический.

Нетрудно проследить, как отражались эти черты личности Зозули на его творчестве. Оно, несомненно, оптимистично. Только не надо эту оптимистичность понимать примитивно. Зозуля вовсе не рисовал жизнь в розовых красках. Наоборот, резко вскрывал отрицательное, мрачное в жизни, но так страстно ненавидел это мрачное, так беспощадно бичевал его, что заражал читателя и страстностью этой ненависти, и стремлением неустанно бороться с безобразиями, и твердой уверенностью, что в конечном итоге борьба завершится победой над злом.

Писательское лицо Зозули своеобразно и выразительно. Основной жанр его творчества — новелла. Часто она фантастична, лишена конкретной бытовой обстановки. Однако это не научная фантастика. Тогда какая же? Тут на память невольно приходят Эдгар По или, может быть, Александр Грин.

Нет, фантастика Зозули совсем иного рода. В ней нет авантюрной таинственности и мрачной романтики По. Нет в ней и светлой романтики, подчеркнуто ирреальной фантастики Грина. Если не бояться внешне парадоксального определения, то, пожалуй, наиболее точным будет такое: реалистическая фантастика.

Да, Зозуля черпает материал из современной ему действительности, нашей и зарубежной. Тогда почему же он ставит людей в странные, необычайные положения и вдобавок часто дает им необыкновенные, подчеркнуто условные имена, а то и вовсе никаких имен не дает?

Но Зозуля не романтик, а сатирик, и стилизованность его сатирических новелл служит целям обобщения.

Нет сатиры без ненависти. Больше всего Зозуля ненавидит пошлость и унижение человека человеком. Рисуя явления и людей, которые могут встречаться в раз-

ное время и в разных местах, он выводит действие из определенного места и времени и тем особенно подчеркивает типичность.

Вот одна из лучших его новелл, «Немой роман».

Рассказчик нашел в номере провинциальной гостиницы, в умывальном кувшине, груду маленьких записок. Оказывается, уличный ловелас, махровый пошляк, привел сюда милую неопытную глухонемую девушку, с которой случайно познакомился, и, пользуясь ее незнанием жизни, усугубленным глухонемотой, быстро соблазнил ее, нагло применив весьма нехитрые приемы. Затем девушка, разобравшись в происшедшем, рыдает, а пошляк весело насвистывает. Все это отражено в письменном диалоге — коротеньких записочках, которыми обменивались глухонемая и ее циничный соблазнитель.

Оригинальный прием, на котором построен сюжет, отнюдь не кажется надуманным. Он естественно вытекает из особенностей создавшегося положения. Отличительные черты действующих лиц и обусловленные этими чертами взаимоотношения даны в записках с предельной точностью и выразительностью.

Есть у Зозули и такие новеллы, в которых действие спрессовано в каких-нибудь полутора-двух десятках строк. Но, прочтя их, задумываешься о многом, рассказ окрашивает в определенный тон чувства и мысли читателя, как крошечный кристаллик марганцовокислого калия окрашивает полный стакан воды. Приведу целиком такую новеллу, написанную в 1916 году:

«Лакей

Утро. Кафе только что открылось. Только что прикрепили к палкам газеты. Посетителей почти нет. Лакей, о котором я хочу написать, угрюм, морщинист и сед.

На затылке у него торчит кончик галстука. Почему-

то этот кончик часто торчит на шеях неудачников, как маленький черный флаг на траурном судне.

Он читал газету стоя. Что-то сильно заинтересовало его в военных сообщениях. Лицо почти влипло в газету. Рот раскрылся. Салфетка выпала из подмышки на столик.

Вдруг к этому столику подошли два посетителя. Они о чем-то горячо беседовали.

Один из них, нелепый, грубый, весь какой-то косой и толстый, разговаривая, машинально забрал у лакея газету.

Лакей, увлеченный чтением, оторопел. У него забрали газету на самом интересном месте чтения. Он инстинктивно подался вперед и простер руку.

Но опомнился, встряхнулся, кашлянул, отошел на шаг, вскинул на разгиб руки салфетку и, не зная, что еще сделать, низко поклонился...»

Автор прямыми словами не говорит здесь о своей ненависти к унижению человека. Но можно ли эту ненависть выразить сильнее, чем сделано в приведенных объективно-описательных строках? И, конечно, имена, бытовая обстановка здесь не нужны.

Среди наследия Зозули находим ряд произведений, саркастически бичующих мрачные стороны дореволюционной жизни. Таков, например, рассказ «В царской казарме». Его основная нота все та же: ненависть к унижению человека, которым была проникнута казарменная муштра, оболванивавшая солдата, лишавшая его сознания своего человеческого достоинства. Здесь есть и ряд четко выписанных бытовых деталей.

Имеются у Зозули и вещи, исполненные революционного пафоса, как, например, прекрасный рассказ «Мелочь», повествующий о событии, которое кажется незначительным его героям, но на самом деле весьма знаменательное. Действие происходит в первые годы после Октябрьской революции. Хладнокровие, мужество и на-

ходчивость нескольких советских работников спасли город от разгрома разнузданной анархистской вольницей.

И все же не эти произведения наиболее характерны для Зозули, а такие гротесково-фантастические, как, например, «Живая мебель».

Богач Икай нанимает людей, чтобы они служили ему мебелью. «Господин Икай сидел на спине человека, стоявшего на четвереньках. Человек служил ему креслом. Это кресло было удобно: сиденье — теплое и прочное, спинка — нежная и ароматная, ибо это была грудь молодой здоровой женщины, умевшей стоять неподвижно, а перилами кресла, на которых покоились руки Икая, были изящные плечики двух девочек-подростков... Икай был мягок и по-своему сердечен: он берег свою живую мебель».

Однако эта сердечность не радовала живую мебель. Она взбунтовалась. «И на этом пока кончается рассказ о живой мебели. Пока еще много осталось ее на свете, а когда ее не будет, кто-нибудь напишет о ней еще раз — и лучше».

Повествование словно вне времени и пространства. Даже имен лишены люди, у одного Икая есть имя, и то нарочито условное. На самом же деле действие этого рассказа, напоминающего по жанру известный памфлет Лафарга «Проданный аппетит», охватывает многие страны и эпохи, и социальная направленность его несомненна и ясна.

Я не раз удивлялся способности Зозули много делать, много успевать.

Вполне естественно для писателя стремление побольше видеть, наблюдать жизнь. Зозуля был очень подвижен, легок на подъем, пытлив. Предпринимал далекие и близкие путешествия. Не раз побывал за границей и рассказал об этих поездках в острых, выразительных очерках. Но и дома, под рукой мог найти интересное, заслуживающее внимания. Однажды предложил мне: «Да-

вайте съездим в Серпухов!» Далеко ли Серпухов? Даже тогда до него было всего около трех часов езды местным поездом. А Зозуля сумел подойти к этой поездке как путешественник — видеть новое, удивляться, подмечать интересные детали. Бродил по базарной площади, заглянул в гостиницу, магазины. А в поезде, как всегда, внимательно приглядывался к пассажирам, прислушивался к разговорам и самое характерное запечатлевал, как в блокноте, в своей цепкой памяти. А потом черты этих лиц, обрывки этих разговоров можно было узнать в его новеллах, как черты натурщика на картине художника.

Редакционная работа тоже в какой-то мере обогащала, конечно, жизненный опыт Зозули, давала возможность общаться со многими людьми. К тому же она неплохо обеспечивала его материально. Однако она отнимала львиную долю его времени, а ведь он сам и говорил и писал, что литературное творчество требует упорного, напряженного труда. Очевидно, ему следовало найти правильное соотношение между работой за писательским столом и редакционной деятельностью — както ограничить последнюю.

Но Зозуля пошел по линии наименьшего сопротивления: стал работать облегченно. Тогда и пришла ему идея написать цикл новелл «Тысяча». Собственно, это были не новеллы, а маленькие, как бы черновые наброски размером в одну-две странички на машинке. Дело, конечно, не в размере: столько же места занимают такие его блестяще отшлифованные рассказы, как, например, «Лакей». И те «новеллы» просто заготовки, сырой материал из записной книжки. Задача была такова: дать тысячу портретов разных советских людей, интересных каждый по-своему. Вряд ли подобная задача по плечу даже самому талантливому писателю. Одними наскоро сделанными зарисовками здесь не обойдешься. В большей или меньшей степени, но почти каждая «новелла» получилась бледной, невыразительной, хотя во многих

чувствовался ценный материал. Не знаю, сколько подобных вещиц Зозуля успел написать. Некоторые из них ему удалось напечатать.

Немало времени Ефим Давыдович уделял руководству созданным им кружком молодых писателей при «Жургазе». Он любовно занимался с ними, вкладывая в эти занятия, как и во все, что делал, много энергии, добросердечия. Некоторые из его подопечных впоследствии стали видными писателями и с благодарностью вспоминают о его чутком, терпеливом внимании, дружеской поддержке.

Было у Зозули увлечение (как теперь говорят — хобби), не связанное с литературной деятельностью,— живопись. Кажется, у него не было призвания к этому виду искусства, но он весьма усердно занимался им. На работу над картинами щедро тратил свои небольшие досуги. Забирался, например, в выходной день в одну из пустых комнат редакции «Известий» и писал через окно городской пейзаж. Помню, на одной из картин было зафиксировано и это круглое окно с переплетом. Оно придавало какую-то свежесть картине, а пейзаж смахивал на детскую живопись.

Занимался Ефим Давыдович и графикой. Иногда рисовал обложки для книжек библиотеки «Огонек». Сделал он и обложку для моей книжки научно-фантастических рассказов, тоже напоминающую детские рисунки.

Вполне возможно, что яркое и своеобразное литературное дарование в конце концов взяло бы верх в Зозуле, помогло бы ему уйти от облегченной писательской работы и поставить на первый план ту целеустремленную, напряженную творческую деятельность, мечту о которой он так четко выразил в упомянутом выше предисловии.

Но культ личности Сталина все больше набирал силу. Кольцов был репрессирован и погиб. Пострадал и

Зозуля как его ближайший сотрудник. Ефима Давыдовича, правда, не арестовали, но уволили со штатной работы в «Огоньке» («Прожектор» в это время уже не издавался). При других обстоятельствах свобода от служебных обязанностей, быть может, пошла бы на пользу его творческой работе. Но обстановка создалась неблагоприятная. Зозуля поник духом, хотя и бодрился. Печататься стало гораздо труднее, материальное положение семьи было подорвано.

Так прошло несколько лет. Началась Великая Отечественная война. Зозуля вновь нашел свое место, почувствовал себя нужным, вступил в ряды защитников Родины, с энтузиазмом работал в воинской газете, писал бодрые, полные патриотического воодушевления письма. Но жизнь его оборвалась: он погиб еще зимой 1941/42 года. Ему было пятьдесят лет. Далеко до семидесяти пяти, о которых он мечтал!

Имя Зозули в числе других имен погибших на фронте писателей высечено золотом на мраморной доске в Центральном Доме литераторов. Но оно сохранится не только там. Лучшие произведения Зозули вошли неотъемлемой частью в фонд советской литературы. Они переиздаются и, несомненно, будут еще переиздаваться.

ПИСАТЕЛЬ И ВОИН. ВЯЧЕСЛАВ КОВАЛЕВСКИЙ

В моем шкафу, отданном русской прозе, стоят рядком несколько книг В. А. Ковалевского — основное из написанного им.

Начинал он, как многие прозаики, стихами. В 1919—1922 годах вышли три книжки его стихов. Но впоследствии он не придавал им значения.

Я познакомился с Вячеславом Александровичем в начале тридцатых годов в редакции журнала «Народный учитель», для которого тогда систематически писал очерки на производственные темы. Редакция этого журнала привлекла к работе над очерками ряд писателей. Ковалевский тоже был в их числе, но, кроме того, он был штатным работником редакции.

Ковалевский в те годы только начинал по-настоящему входить в литературу. Но уже тогда его рассказы, публиковавшиеся в некоторых журналах, привлекли благожелательное внимание критики. Кроме того, он включился в создание организованной по инициативе Горького «Истории фабрик и заводов». Это должны были быть художественные очерки беллетристического характера, и некоторые писатели дали по этой линии ценные произведения. Но Ковалевский вышел за пределы предложенного жанра и на конкретном материале «Трехгорной мануфактуры» создал повесть «Хозяин трех гор» — о ее владельце Тимофее Прохорове, причем фоном послужила широкая картина жизни фабрики. Образы самого Прохорова, его рабочих, служащих созданы рукой подлинного мастера. Книга, выпущенная издательством «Художественная литература» в 1939 году, была ярким произведением, обнаружившим не только талантливость автора, но и превосходное знание

предмета, основанное на тщательном изучении времени, обстановки.

Однако автора книга удовлетворила не полностью. Он сделал на ней такую надпись: «Абраму Рувимовичу Палей, в надежде, что он дождется от автора вещей более совершенных. Вячеслав Ковалевский. 1939—X—22. Москва».

Что греха таить, есть из нашего брата такие, которые не прочь пококетничать показной скромностью. Но надо было знать Ковалевского, чтобы полностью отклонить такое подозрение относительно его: это был человек предельно скромный, искренний и жестоко требовательный к себе. Он продолжал работать настойчиво, и книги его, помимо талантливости, изобличали дотошное изучение материала — о чем бы ни шла речь в его произведениях. Как романы, повести, так и небольшие рассказы его всегда отличались неизменной писательской добросовестностью и производили впечатление максимальной достоверности, внушали читателю уверенность в том, что автор досконально знает то, о чем пишет.

Наше знакомство перешло в дружбу, и он стал систематически привозить мне все, что у него выходило. Его дарственные надписи не были стандартны.

С фронта Великой Отечественной войны я, по болезни, вернулся раньше Ковалевского. Он прошел всю войну в качестве политработника, писателя, неустрашимого бойца, был тяжело контужен и от последствий контузии не мог оправиться всю дальнейшую жизнь. Война нашла отражение в его творчестве — иначе быть не могло. Но я рассказываю о его книгах в хронологическом порядке.

В 1958 году он подарил мне первый выпуск «Нашего современника», который тогда еще был не ежемесячником, а альманахом. В нем напечатана незавершенная повесть Ковалевского «Брат и сестра» — о Космодемьянских. Надпись на книге такая: «Дорогому Абраму Рувимовичу Палей от автора, не теряющего на-

дежды закончить напечатанную в этом альманахе повесть «Брат и сестра». Надежда впоследствии исполнилась — он никогда не оставлял работу незаконченной, кроме самой последней, которую оборвала смерть.

Одновременно с альманахом он привез мне книгу «Глубокий снег», куда вошли одноименная повесть и рассказы. Потому ли, что эти вещи были раньше опубликованы в периодике, или потому, что одна содержательная надпись уже была сделана, он, в виде исключения, ограничился стандартным «на добрую память». Впрочем, эта книга вышла двумя годами раньше, и для автора уже, вероятно, притупилась новизна ее появления.

В книге «Глубокий снег» помещено несколько рассказов, написанных в разное время, начиная с 1927 года. Поэтому после дарственной надписи автор поставил дату: «1958-март-1927». Но основное место в ней занимает повесть, давшая название всей книге,— повесть о разведчике, рожденная впечатлениями войны. А главную свою книгу о войне — «Тетради из полевой сумки» — Ковалевский выпустил в 1958 году. Книга эта вызвала оживленное обсуждение в печати. Почему она вышла спустя такой долгий срок после окончания Великой Отечественной войны — не могу сказать. Знаю только, что с трудом продиралась через издательские дебри, не без существенного урона. Действительно, в ней есть страницы, способные вызвать дискуссию. В то же время это глубоко искренняя книга. Как всегда, Ковалевский пишет здесь только о том, что хорошо знает, пишет о героизме и мужестве, не скрывая и темных сторон войны. В предуведомлении «От автора» он говорит: «Тетради из полевой сумки» — это мой военный дневник. Так все оно и было, как записано на страницах тетрадей. Теперь я только обработал то, что записывал на фронте, многое сократил, оставил только самое интересное и важное. При этом я ни на йоту не посягнул на суровую правду незабываемых, трагических дней Великой Отечественной войны».

Здоровье Ковалевского начинало сильно сдавать, и надписи на книгах приобретают грустный, хотя и завуалированный оттенок. На «Тетрадях из полевой сумки» он написал: «Дорогому Абраму Рувимовичу Палею — на добрую, долгую память, чтобы труднее было забыть автора этой книги». Забыть? Но почему? Живых не забывают. Да и уходящих друзей — тоже.

Семья, дети — одна из любимых тем творчества Ковалевского; о детях он пишет с большой любовью, начиная еще с ранних своих рассказов. Творчеству он отдает все свои помыслы, но, отвлекаясь от работы, все больше задумывается, грустит. В 1972 году вышла его повесть «Единственное мое оружие — любовь», посвященная памяти горячо любимого внука, скончавшегося на заре своей жизни. В повести изображаются дни рядовой советской семьи в предвоенные годы. Тяжкий недуг уже подкрадывается к Ковалевскому вплотную, и надпись на книге носит еще более явственный печальный характер: «Абраму Рувимовичу Палей — еще одно дружеское напоминание о том, что автор этой книги, несмотря ни на что, все еще продолжает существовать».

Эхо войны тревожило Ковалевского до конца. В 1974 году вышла его повесть «Лебединый крик». «Еще одно воспоминание о трагических днях Великой Отечественной войны»,— надписал он на ней. Это рассказ о боевых буднях авиационного полка. Больше прижизненных изданий у Ковалевского не было. Он умер в 1977 году: его догнала смерть от фронтовой контузии.

Стоят рядком эти книги, и я прослеживаю по ним весь творческий путь писателя, прошедший у меня на глазах (не считая стихов). Я отчетливо помню его — от первых повестей и прелестных маленьких рассказов, приветственно встреченных критикой, до последних повестей, исполненных столь же неугасающего интереса и горячей любви к людям. Напрасно беспокоился Ковалевский: забыть его невозможно. Хороший человек ушел, хорошие книги остались.

ДМИТРИЙ СТОНОВ

Переехав из Ленинграда в Москву в 1926 году, я познакомился с некоторыми писателями, в том числе с Дмитрием Стоновым.

Время было сложное, материально бедноватое. Страна переживала бытовую и психологическую ломку. Шел на убыль нэп. Следы побежденной интервенции и длительной гражданской войны еще явственно давали себя знать. Но уже отчетливо были видны перспективы великого строительства. Мы были полны надежд, ожиданий, стремлений и жажды работы.

Молодой Стонов ютился с женой Анной Зиновьевной в небольшой комнате коммуналки в Трехпрудном переулке. Еще в одной комнате той же квартиры жил старший писатель, известный в русской литературе с дореволюционного времени,— Юрий Слезкин.

Стонов же был в процессе становления, хотя к тому времени уже публиковался в некоторых периодических изданиях. Стали у него выходить и первые книги.

Начинал он хорошо: энергично, напористо, не жалея сил. Собственно говоря, это был уже до некоторой степени определившийся писатель, не скажу — вполне сложившийся, потому что был еще полон поисков как в отношении тем, так и в отношении формы.

Как настоящий писатель ищет темы для своих произведений? Ведь это не так делается: дай-ка поищу, понаблюдаю — тогда можно и сесть за письменный стол. Нет, поиск — это первичное, может быть, даже не всегда осознанное дело. Вот, например, разве Горький в своих скитаниях по Руси «собирал материал»? Да он до тех пор, пока внимательный и образованный слушатель его устных рассказов не натолкнул его на мысль писать, и не думал об этом.

Скажете, бывает и иначе? Бывает. Тот же Горький в свое время нацеливал писателей на «Историю фабрик и

заводов», на документальные очерки для «Наших достижений».

Но — писателей.

А Стонов в начале собирания своего материала не был еще писателем. Однако довольно быстро стал им. Его собирание состояло в жадном (на первых порах, возможно, еще и не осознанном), увлеченном наблюдении за всем, что попадалось на его пути, прежде всего за людьми. Чем настойчивее такое желание, тем упорнее оно вырвется наружу для оформления накопленного материала. Без этого не стоило бы говорить о писателе.

Сейчас, по прошествии более шестидесяти лет, снимаю с полки первую его книгу «Лихорадка» («Земля и фабрика», 1925). Она успела тогда уже отразить его достижения и те пробелы, которые предстояло заполнить,— недочеты в области творческого своеобразия.

На задворках этого сборника, в конце его, приютился рассказ «Сундук». А он-то и есть главный.

Читаю этот рассказ и как бы слушаю, словно бы слышу глуховатый, спокойный голос Дмитрия Мироновича. И не мешает это рассказу, даже обогащает его. Передо мной не только сам отталкивающий «герой», но как бы комментируемый автором — отнюдь не бесстрастным, горячо ненавидящим этого «героя». Но ненависть тем более явственно чувствуется, что форма ее замкнута, сдержанна. Это — искусство? Да, и большое. Автор комментирует «героя» только интонацией, свойственной самому же персонажу.

Глубоко ненавидит Стонов такой тип людей. Другой, еще подробнее развернутый, подобный персонаж — в рассказе «Хрущов». Включая его неоднократно в свои сборники, как и «Сундук», Стонов тем самым дает ясно понять, что крайне заинтересован ими — негативно заинтересован. Тип циничного, наглого, самоуверенного эгоиста, шкурника, уверенного в своем праве подминать под себя, уродовать жизнь любому человеку, хотя бы са-

мому близкому, ради своих низменных и, по существу, убогих интересов, не давал покоя Стонову. И хорошо, что не давал: разве и до сих пор не имеются среди нас такие?

А чем же еще интересна эта маленькая книжка?

О, очень интересна — своей тоже негативной стороной. В те годы Стонов еще не освободился от тяготевших над ним, и не только над ним, литературных влияний. Ну, впрочем, влияние — это само по себе не так уж плохо. Хуже — подражание. И здесь его было немало. Оправдание в том, что это подражание захватило тогда немалую категорию писателей. В первую очередь оно объясняется эпохой, обстановкой. Но не только. Читая такие рассказы, как «Депутат», «Большевики», «Лихорадка», вспоминаешь прежде всего Пильняка. Пильняку удалось, нет, не то слово, ну пусть довелось ярко отразить метельные, сумбурные и в то же время целеустремленные первые революционные годы — сумятицу, подвиги, спутанные мысли и дела — и царившую над всем этим организующую волю революционного руководства. Сам собою возник характерный пильняковский разбросанный стиль — сюжетные перескоки, замутненные человеческие образы, мечущиеся, оборванные фразы. Все это тогда способствовало восприятию его произведений, потому что совпадало с настроем читателей, а вот теперь препятствует восприятию, потому что давно уже не совпадает с настроем.

Но не один же Пильняк. И, в конце концов, не он же изобретатель этого стиля. Если вчитаться, вдуматься — встают перед нами навеки запечатлевшиеся образы, стиль «Двенадцати». Да, вот так: проза и влияние, подражание поэзии.

Но и Блок не из ничего вывел этот стиль. Он порожден эпохой и нашел выражение во многих литературных произведениях того периода. В ранних вещах Стонова можно обнаружить следы и других литературных влияний. Однако дороже всего у каждого творческого работ-

ника *свое лицо*. И от книги к книге все четче выявляется творческая индивидуальность Стонова. Этому способствовало то, что он брал материал непосредственно ему знакомый. Объем его жизненных наблюдений был богат. В городах, коих знал немало, он обнаруживал типы шкурников и приспособленцев наряду с честными тружениками, душевными людьми. И деревню знал не со стороны — сам вырос в ней. И еще, будучи русским писателем еврейского происхождения, подобно дореволюционным Юшкевичу, Айзману, изнутри знал еврейскую среду. Это дало ему возможность создать целую эпопею «Семья Раскиных» — историю нескольких поколений буржуазной семьи, смены их на рубеже двух эпох — до- и пореволюционной.

Об этом романе можно написать отдельную развернутую статью. Но я пишу не историко-литературную работу, не критическое исследование, а вспоминаю друга — писателя и человека. Если в основном останавливаюсь на его произведениях, то потому, что они наиболее ярко выявляют личность автора и отмечают вехи его жизненного и творческого пути. А путь был очень непростым.

Пожалуй, Стонову полностью хватило бы материала для произведений, даже если бы он специально не искал его: текущая жизнь дала достаточно. Но уж слишком он был любознателен до жизни во всех ее проявлениях, охотно уезжал в не очень комфортные места, где мог находить новые краски, линии, впечатления, а главным образом — новых людей. В 1930 году в издательстве «Федерация» вышла его книга «Повести об Алтае». Но это никакие не повести, просто путевые очерки, написанные заинтересованным наблюдателем, внимательным писателем со всеми имевшимися в его распоряжении изобразительными средствами. Очерки были небезынтересны для читателей, но для писателя это проходная книга. Другое дело, что накопленные впечатления, сложившиеся образы не пропадают, они впоследствии —

сознательно или подсознательно — вливаются в его творческую лабораторию.

Очерковых книг у Стонова вышло несколько, и в его творческом наследии они занимают не главное место. Говоря это, я не хочу умалить жанр очерка. Но Стонов принадлежал к тем писателям, у которых основные достижения отливались в форме повествовательной — рассказа, повести, романа.

Так шел он по раз и навсегда избранному нелегкому литературному пути, порой оступаясь, но неуклонно поднимаясь в гору, преодолевая легкопись и наносные влияния, упорно отстаивая свой вырабатываемый стиль.

Творческий труд Стонова прерывался дважды, и оба раза на продолжительное время. Но оба перерыва обогащали его новыми, непростыми, но серьезными впечатлениями.

Первый перерыв — участие в Великой Отечественной войне, откуда он вернулся за год до победы из-за тяжелой контузии.

Второй — один из тех бессмысленных арестов, которым подвергались советские люди, в том числе и писатели, в годы культа личности. В заключение Стонов пробыл с 1948 по 1954 год, и кто знает, сколько бы пробыл еще, если бы не был разоблачен произвол Берии.

Но, вернувшись, Дмитрий Миронович, совершенно не сломленный духом, с энергией вновь взялся за творческую работу, за оба ее компонента: посещение мест, где жили герои намеченных новых произведений, и труд за своим письменным столом — тем самым, привычным, заботливо сохраненным Анной Зиновьевной, как сохранила она весь домашний уют, всю семью.

И не был поколеблен в годы испытаний ни трудовой настрой Стонова, ни его патриотизм, ни преданность завоеваниям революции. Еще будучи в заключении, он сделал ряд ценных наблюдений и отразил их в созданных после освобождения набросках.

В этот период творчества Стонов не изменил своим последним, до перерыва, интересам. В поле его зрения вновь оказалась Белоруссия, ее деревня. Это и не удивительно: он выходец из той деревни, та сельская жизнь ему исконно была близка, ведома, любима им. Но как она изменилась за последние — тогда последние — годы! Бурные преобразования продолжались: менялась техника, социальные условия, менялась психика людей — коренным образом менялась, и чуткое внимание писателя не могло пройти мимо этих изменений, не могло не отразить их. И вот нынешнему поколению читателей уже невозможно представить себе эти перемены без таких книг, как повесть Стонова «Текля и ее друзья». Кто такая Текля? Простая девушка из среды, еще далеко не полностью освободившейся от тумана прошлого. Она живет с родителями на хуторе, в стороне от бурно развивающейся новой жизни. Отец, упорный единоличник, не пускает ее в колхоз, куда она инстинктивно стремится, чуя там освобождение от заскорузлого прошлого. Об учебе не может быть и речи. А юная душа рвется к жизни, к служению людям, к осмысленному коллективному труду. Но вряд ли ей удалось бы осуществить это стремление, если бы не сочувствие и помощь новых друзей — тех, кто уже освоил новую жизнь и всей душой пошел навстречу раскрывающейся, ищущей молодой натуре.

Читая нынешнюю богато развернувшуюся так называемую «деревенскую» прозу, не будем забывать о тех писателях, которые еще задолго до наших дней прокладывали пути для этой тематики. Тогда еще не пришло время для детального исследования тех социальных процессов, которые с таким блеском и бесстрашием анализировали Овечкин и иные его современники. На тогдашнем же этапе следовало раскрыть эволюцию психики советского крестьянина, его окончательный переход от единоличного сознания к коллективному. Стонов делал это со знанием людей и обстановки.

Я упомянул далеко не все произведения Стонова, успевшего выпустить около двух десятков книг. Назвал лишь те, которые мне кажутся узловыми на пути развития его творчества. И, обозревая этот путь, можно с удовлетворением сказать: искания, начиная с первых лет литературной работы, привели писателя на твердую, установившуюся дорогу. Сравнивая его последние произведения с теми, какими он начинал, ясно видишь: в результате большого, настойчивого труда он окончательно преодолел стилевые влияния, выработал свой точный, ясный, отчетливый и выразительный стиль, характерный для реалистической русской литературы. В сочетании с основательным знанием материала это и дало такие законченные художественные произведения, как «Раннее утро», «Текля и ее друзья», «Семья Раскиных», «Эстерка» — весьма интересная повесть, где новой женщине, нашедшей себя в колхозе (тоже новом для той поры, в которую развертывается действие), противопоставлен ее муж, погрязший в религиозной «учебе» и незаметно для самого себя превратившийся в трутня. Писатель очень убедительно, отнюдь не навязчиво показал, как они постепенно отчуждаются друг от друга, как вырабатывающийся из мужа тунеядец становится посторонним для жены, охотно берущей его на иждивение (все же муж!), но категорически возражающей против его переезда в трудовой коллектив, где он, конечно, будет инородным телом.

Названные произведения, мне кажется, невредимыми прошли сквозь беспощадное сито времени и вполне заслуживают внимания тех современных читателей, которые хотят охватить развитие советской прозы в историческом аспекте, интересуются поступательным путем этого развития.

Как прав и в очередной раз прозорлив оказался М. Горький, когда в 1935 году, ознакомившись с первыми, далеко еще не совершенными работами Стонова и не

упустив отметить их недостатки, писал ему: «Я давно читаю Ваши очерки и вполне уверен в способности Вашей дать вещи художественной ценности и серьезной социальной значимости».

Когда вспоминаю, что Стонов прожил лишь немногим больше шестидесяти лет, мной овладевает двойственное чувство. С одной стороны, гордость за писателя-друга, который путем настойчивой работы над собой, над своим дарованием сумел создать ряд своеобразных и значительных вещей, имеющих полное основание войти в капитальный фонд советской литературы. А с другой стороны, обида на судьбу, прекратившую его жизнь в полном расцвете достигнутого. Вспоминаю последние годы жизни Стонова, когда он, не давая себе поблажек, неустанно трудился над новыми произведениями, следил за текущей литературой и непосредственно за жизнью, которую она отражала. Он следил за жизнью прежде всего потому, что был жизнелюбив.

Жизнелюбие Стонова выражалось в динамичности всего его существа, в том числе и в физической динамичности. Именно она давала ему сильный стимул для нелегких поездок по Советскому Союзу, а также для энергичных занятий физкультурой. Вспоминаю, как уже во вполне зрелом возрасте мы вместе принимали участие в группе легкой атлетики, организованной правлением писательского клуба еще в довоенное время. Помещение предоставил один физкультурный клуб, находившийся в районе Красной Пресни. Дмитрий Миронович относился к этим занятиям столь же серьезно, как и ко всему, что он делал. Постепенно иные из участников группы отсеялись, а он старательно и скрупулезно выполнял все, что предлагал тренер: и гимнастические упражнения, и бег, и прыжки через «кобылу». И даже здесь рядом с ним неизменно была Анна Зиновьевна... Но тут я должен остановиться, потому что об этой женщине мог бы сказать очень много и не годится говорить о ней скомканно...

Д. П. ЯКУБОВИЧ

В 1923—1924 годах я заканчивал образование в Петроградском университете, на факультете общественных наук, на литературно-художественном отделении, по художественно-инструкторскому циклу. Получившие диплом по этому циклу приобретали право быть педагогами, в частности преподавать в средней школе литературу. Но я мечтал не о педагогической, а о литературной работе. Это стремление сблизило меня с некоторыми молодыми литераторами, обучавшимися вместе со мной. В нашу группу в числе других входили талантливый, рано умерший прозаик Г. К. Бломквист, столь же талантливый поэт А. Вагин, которого вскоре я окончательно потерял из виду, и Д. П. Якубович, сын известного русского революционера и поэта П. Ф. Якубовича, писавшего также под псевдонимами П. Я., Л. Мельшин и другими.

Дмитрий Петрович, очень молодой тогда человек, выглядел старше своих лет. Этому способствовала его сдержанность в речи, жестах, движениях. Но в значительно большей мере это объяснялось складом его ума. Я и Вагин писали лирические стихи, Бломквист — рассказы, Якубович же был более склонен к научно-исследовательской работе. Выбор жанра, в котором человек трудится, во многом зависит от склада его характера. Дмитрий Петрович был самым серьезным, самым вдумчивым из нас.

Выбор жанра, сказал я, во многом зависит от склада характера человека. А характер от чего? Если не целиком, то в большей своей части он определяется условиями среды и воспитания, в которых складывается личность. Дмитрий Петрович рос в семье родителей — несгибаемых русских революционеров, не способных ни на какие нравственные компромиссы, принесших в жертву

своей идее лучшие годы жизни. Отец его, Петр Филиппович, много лет провел на царской каторге. Это подорвало его здоровье, но ни в какой мере не согнуло его волю. О годах, проведенных на каторге, в обществе политических и уголовных заключенных, он рассказал в замечательной книге «В мире отверженных». В этой книге Петр Филиппович проявил себя не только как талантливый беллетрист и публицист. При крайней скромности изложения в ней явственно проступает нравственный облик автора, человека высокого душевного благородства, неизменно, даже в самых тяжелых обстоятельствах, сохраняющего верность своему гражданскому долгу, чувство собственного достоинства, горячую любовь к людям, без которой и не может быть подлинного революционера. С. А. Венгеров писал об этой книге: «Критика всех направлений признала, что после «Мертвого дома»[1] это самое замечательное изображение тюремного мира».

Литературные интересы Петра Филипповича были очень широки. Он написал много стихов, проникнутых боевым революционным духом. Стихи эти выдержали ряд изданий, вышли в Большой серии «Библиотеки поэта». Жена Петра Филипповича, мать Дмитрия Петровича, Р. Ф. Франк, также была революционеркой, много лет провела в ссылке.

У Дмитрия Петровича был темперамент не бойца, а исследователя. Но традиции революционной, высококультурной семьи наложили неизгладимый отпечаток на его личность. Он всегда был прям и последователен, глубоко принципиален, чужд какой бы то ни было корысти — словом, полностью следовал правилу, так ярко выраженному поэтом Н. М. Языковым:

Не лобызай сахарных уст порока,
И не проси, и не бери наград.

---

[1] Имеются в виду «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского.

Литературные и общественные интересы Петра Филипповича тесно сблизили его с определенной группой прогрессивно настроенной литературной общественности. Он был членом редакционной коллегии журнала «Русское богатство», дружил с В. Г. Короленко, Демьяном Бедным, критиком А. Г. Горнфельдом. Эти люди с большой нежностью относились к Дмитрию Петровичу — не просто как к сыну своего друга, а как к его *достойному* сыну. В те годы, когда я встречался в Ленинграде с Дмитрием Петровичем, Короленко уже не было в живых. Дмитрий Петрович еще только начинал свои литературные исследования, и его студенческая жизнь была в бытовом отношении очень нелегка. Демьян Бедный, который был горячо признателен покойному Петру Филипповичу за то, что тот любовно руководил его первыми литературными шагами, неоднократно и настойчиво предлагал Дмитрию Петровичу материальную помощь и содействие в связях с редакциями. Но Дмитрий Петрович неизменно отклонял и то и другое: он считал, что, будучи молодым и работоспособным, сам пробьет себе ту дорогу, на которую имеет право по своим способностям и труду. Так и произошло.

Горнфельд уже был в это время стар и слаб здоровьем. Он, правда, много работал, но не обладал сколько-нибудь значительными материальными средствами и не был влиятелен в литературных и издательских кругах. Поэтому он не мог бы сделать для Дмитрия Петровича то, что предлагал со своей стороны Демьян Бедный. Но Горнфельд делал для него то, что было юноше бесконечно дорого и за что он был бесконечно признателен,— оказывал Дмитрию Петровичу (Горнфельд его по-родственному называл Димой) огромную моральную поддержку. Обоих родителей Дмитрия Петровича уже не было в живых, а в квартире Горнфельда, по-отечески ласково относившегося к нему, юноша чувствовал себя как в родной семье, хотя у Горнфельда никогда своей

семьи не было. Конечно, то были взаимоотношения старшего и младшего, но они были основаны на равном взаимном уважении. Горнфельд неоднократно отзывался при мне о Диме с истинным уважением и горячей любовью.

При своих научных увлечениях и внешней сдержанности Дмитрий Петрович отнюдь не был чужд юношеской веселости и потому, несмотря на различие характеров, отлично чувствовал себя в нашей среде, как и мы в его обществе, лишенном какой бы то ни было натянутости.

Однажды мы с ним вместе написали детскую сказку в стихах. При этом Дмитрий Петрович обнаружил прекрасное владение техникой стиха, изобретательность, остроумие и живость характера, которую не могли бы предполагать в нем под первым впечатлением от его сдержанных манер те, кто мало его знал.

За давностью лет во многом изгладилось из памяти содержание бесед, которые мы вели с Дмитрием Петровичем. Но живо сохранилось воспоминание об обстановке этих бесед и впечатлениях от них.

Часто эти беседы происходили в огромном по ширине и длине коридоре здания Ленинградского университета (бывшее здание двенадцати коллегий Петра I), выходящего на Первую линию Васильевского острова. Коридор этот служил чем-то вроде бульвара, по которому всегда фланировали свободные от занятий студенты и студентки, тем более что в то время посещение лекций было необязательным. Мы ходили взад и вперед по этому коридору втроем, вчетвером, а иногда и вдвоем с Дмитрием Петровичем. Беседы касались самых разнообразных тем: мы говорили об общих знакомых, о наших профессорах, о современных писателях, о классиках, которых изучали в университете. И, конечно, о личных переживаниях. Порой серьезно, порой шутливо. И всегда после разговора с Дмитрием Петровичем оставалось светлое впечатле-

ние от его доброты, порядочности, душевной чистоты.

Вскоре Дмитрий Петрович женился, у него появилась дочь. Мне не пришлось познакомиться с его семьей, так как я уехал из Ленинграда и наши встречи надолго прекратились. Дмитрий Петрович продолжал углубленную исследовательскую работу. Он изучал творчество Пушкина и занял видное место среди пушкинистов. Он деятельно участвовал в таких серьезных изданиях, как, например, «Временник Пушкинской комиссии», в научном редактировании произведений Пушкина. Вклад Якубовича в пушкиноведение весьма весом, и современные пушкинисты нередко обращаются к его трудам.

В 1933 году Дмитрий Петрович, приехав в Москву, сделал мне дорогой подарок — вышедшее к тому времени седьмое двухтомное издание книги «В мире отверженных» под редакцией и с примечаниями Дмитрия Петровича. Книга эта, с дарственной надписью, напоминает мне одновременно об отце и сыне — героическом революционере-писателе и талантливом литературоведе.

Дмитрий Петрович прожил недолго: он страдал пороком сердца и умер сорока трех лет. Во «Временнике Пушкинской комиссии» за 1941 год был помещен некролог, написанный известным пушкинистом Б. Томашевским, и список трудов Дмитрия Петровича.

МАРИЯ ШКАПСКАЯ

В 1906—1907 годах, когда я учился в частном реальном училище в Полоцке, в числе моих одноклассников был мальчик К. Вскоре я вместе с родителями уехал из Полоцка и потерял его из виду. А в 1916 году, будучи в Петрограде студентом психоневрологического института, вновь встретился с К., студентом того же института. Однажды он предложил:

— Пойдем, я познакомлю тебя с моей невестой.

Невеста жила где-то в районе Каменноостровского проспекта. Это была изящная девушка, стройная, высокая. Фамилии ее я не запомнил.

Когда осенью 1922 года я вернулся из Екатеринослава в Петроград, кто-то сказал мне, что Мария Шкапская, ставшая уже к тому времени известной поэтессой, и бывшая невеста К. (их брак так и не состоялся) — одно и то же лицо. А узнав это, я решил возобновить старое знакомство: я писал стихи и, естественно, интересовался поэзией и поэтами. До моего сведения дошло также, что у Шкапской происходят журфиксы поэтов (в старину сказали бы — литературный салон, но то было иное).

Мария Михайловна жила теперь тоже на Петроградской стороне, недалеко от зоосада. Встретила она меня приветливо — и в память прежнего своего увлечения моим школьным товарищем, и потому, что вообще была гостеприимна и общительна.

К этому времени у нее уже вышел ряд стихотворных сборников. Ряд сборников, но стихов-то было сравнительно немного: в те годы было принято издавать их крошечными книжками — тоненькими, миниатюрного формата: десяток-другой стихотворений — вот и вся книжка.

Тогда многие авторы стихов за неимением желающих

печатать их издателей сами выпускали подобные книжечки. Но для пущей важности придумывалось какое-нибудь издательство с экзотическим названием. Вот, например, у меня есть такая крошечноформатная книжечка Георгия Шенгели с изощренным заглавием «Апрель над обсерваторией», а на книжке название издательства, якобы выпустившего ее, на французском языке: «Oiseau bleu» — в переводе «Синяя птица» (Петроград, 1917). Есть у меня и книжка Шкапской «Mater dolorosa» — «Скорбящая мать» (Петербург, МДССССХХI). Вслед за обложкой, перед шмуцтитулом, на отдельном листке будто бы издательская марка, кокетливо обрамленная круговой надписью — названием выдуманного издательства: «Купина неопалимая». Клянусь, такого издательства не существовало, как и «Синей птицы».

Тематика стихов Шкапской была очень узка. Поэтесса писала о радости материнства, а чаще — о горечи неудовлетворенной потребности материнства. Кое-где пробивались мистические нотки. Однако стихи были безусловно талантливы, отличались «лица необщим выраженьем». Поэтесса могла бы сказать о себе: «Бокал мой мал, но я пью из своего бокала». Но, будучи человеком очень жизнеспособным и жизнелюбивым, она не могла раз и навсегда замкнуть себя в этих узких пределах. В стихах ее зазвучали — правда, довольно смутно — социальные мотивы (поэмы «Человек идет на Памир», «Явь»). Но наиболее отчетливо они проявились в ее прозе. Впрочем, об этом дальше.

Мария Михайловна теперь была замужем за инженером Г. О. Шкапским, она приняла его фамилию. Я стал бывать у них на поэтических собраниях. Это происходило раз в неделю — по средам, если не ошибаюсь. Там бывали поэты и литераторы других жанров. Наряду с начинающими случалось встречать уже завоевавших известность писателей: И. Эренбурга, Н. Тихонова, Д. Заславского и других.

Петроград был тогда полупуст, в жилой площади недостатка не чувствовалось. Шкапские занимали просторную квартиру. В самой большой комнате стоял длинный стол. На него выставлялось весьма нехитрое угощение: время было довольно суровое, а материальные средства Шкапских ограниченны. На столе обычно располагались бутылки с минеральной водой, сухарики, бублики и... вот, пожалуй, и все. Но было очень хорошо, атмосфера царила совершенно непринужденная, однако без излишней развязности. Здесь собирались только люди, увлеченные поэзией, по большей части сами поэты, а также их друзья. Знакомые хозяйки могли приводить своих знакомых и никого никому не представляли, в том числе и самой Марии Михайловне. Случалось услышать и такой диалог:

— Кто эта молодая женщина?

— Это хозяйка квартиры, Шкапская.

— А вот тот мужчина, что задумчиво сидит в углу?

— А это ее муж.

Много поэтов перебывало здесь. Иные потом переменили жанр, иные вовсе ушли из литературы, а кое-кого больше нет в живых.

Читавших стихи поэтов слушали с напряженным вниманием и их коллеги, и просто любители поэзии. В те годы было принято читать стихи нараспев — на мой взгляд, это сильно портило впечатление и создавало чрезмерно большое сходство в манере чтения разных людей и разных стихов. Лишь немногие читали по-своему, в их числе молодой Николай Тихонов. Он как-то затрудненно произносил слова, однако это очень шло к его тогдашним стихам, не гладким, предельно выразительным, где каждый образ требовал вдумчивого внимания слушателей.

Бывали собрания более и менее многолюдные — как случится. Когда приходило много народу, гости рассаживались где придется: на диване, на стульях, летом на

подоконниках раскрытых окон. Но какие же это гости? Хозяйка ни к кому не проявляла исключительного внимания; бывало, что приведенный своим приятелем новичок так и уходил, не познакомившись с ней на первый раз. Однако это ничуть не противоречит тому, что я сказал о ее гостеприимстве. В том-то оно и проявлялось, что она сумела создать такую непринужденную атмосферу, в которой каждый чувствовал себя легко и свободно без обязательного личного общения с хозяевами квартиры.

Когда посетителей было немного, то помимо чтения стихов часто возникали общие разговоры на самые разные темы. Иногда пели хором народные песни.

А порой хозяйка демонстрировала свой альбом. О, то была замечательная вещь! Нечто напоминающее знаменитую «Чукоккалу» К. Чуковского, но совсем в другом роде. Толстейшая тетрадь, в которую вносилось *все*. Как это «все»? Ну, все, что так или иначе привлекало внимание владелицы альбома: чье-либо удачное стихотворение, вырезанное из газеты; статья, интересная по форме или содержанию; услышанный от кого-нибудь анекдот или необычный жизненный факт; какая-либо любопытная песня; сюда же вклеивался заинтересовавший чем-нибудь календарный листок, засушенный лист дерева или цветок, даже насекомое. Все, словом. Альбом рос с каждым днем и теоретически мог достигнуть безграничных размеров.

Конечно, такой альбом мог послужить писателю необъятной записной книжкой, кладовой тем и деталей. Кажется, он находится сейчас в одном из государственных хранилищ. Как собрание разных случайных, но в то же время и очень ценных, крупных и мелких фактов он может послужить одним из пособий для изучения эпохи

Тема материнства в поэзии Шкапской не была чем-то надуманным, просто литературным приемом. Она очень

любила детей. После того как я в 1926 году переехал из Ленинграда в Москву, она с радостью и гордостью писала мне, что у нее появились «два крошечных мальчика».

Но далеко не все шло гладко. В результате тяжелой драмы она потеряла мужа.

Прошли еще годы. Второй муж Марии Михайловны перевелся на работу в Москву. Она переехала в есте с ним, и здесь у нее родилась дочка Светлана. А «мальчики», уже вполне самостоятельные, остались жить в Ленинграде.

В Москве Шкапская с семьей получила квартиру в новых домах у шоссе Энтузиастов. Любовь Марии Михайловны к детям перекликалась с ее любовью к животным. В кухне своей московской квартиры она устроила маленький зоопарк. Там жили белка, два бурундучка, молодой сокол. Комната Марии Михайловны и Светланы была заставлена аквариумами с рыбками.

Очень любила Шкапская собак, особенно пуделей. Скрещивая черных и белых пуделей, она вывела породу коричневых с различными оттенками, даже бежевых. Она посещала и помогала устраивать выставки собак, лечила их.

А как же с узколичными, узкоженскими стихами? Мария Михайловна разносторонне интересовалась жизнью советских людей. Очевидно, она не нашла средств полностью отразить этот интерес в жанре поэзии. Она избрала другой литературный жанр, в котором сумела проявить себя не менее, а, пожалуй, более талантливо,— очерк. И работала очень энергично и плодотворно. Изъездила вдоль и поперек Советский Союз, бывала и в Белоруссии, и в Средней Азии, и на Дальнем Востоке, и во многих других местах. Горизонт ее по сравнению с периодом, когда она писала стихи, расширился необъятно. И в очерке она нашла свой стиль,

очень отличающийся от ее поэзии, но тоже весьма своеобразный.

А личная жизнь шла своим чередом, со своими радостями и огорчениями, удачами и неудачами. Неудач было немало. Тяжело заболел и стал инвалидом муж. Мария Михайловна дважды была жертвой несчастных случаев. Какой-то мальчик ранил ее в голову камнем, пущенным из рогатки. В другой раз она попала в железнодорожную катастрофу, после чего долго болела. Может быть, из-за этих травм стала быстрее стареть. Много лет я знал ее, и вот на моих глазах она превратилась из изящной девушки сначала в молодую, все еще привлекательную женщину, потом в пожилую, а затем... да, в старую, грузную. Ну что ж, в конце концов это общая участь, и чем позже приходит старость, тем, конечно, лучше. Но живость ума и характера, но настойчивая работоспособность остались при ней, и она энергично трудилась, пока хватало сил, и, смело можно сказать, шла в первых рядах советских очеркистов.

Умерла она скоропостижно, от инфаркта. Это произошло в Сокольниках, на выставке собак, которую она осматривала с живым интересом.

Незадолго до своей кончины Мария Михайловна решила навестить меня на Солянке, где я жил, и привезла мне в подарок горшок с комнатным растением. Но не предупредила, что приедет, и не застала меня дома. Горшок с цветком оставила у своих знакомых, в одной из квартир того же дома, с коротенькой, но трогательной запиской, в которой говорилось, что это растение будет напоминать мне о ней после того, как ее не станет.

Мне не удалось сохранить ее милый подарок. Однажды внезапно пришлось уехать надолго, заперев комнату, и цветок погиб. Погибли и письма Марии Михайловны.

Не сохранились и подаренные ею несколько сборников ее стихов, но по другой причине. Будучи в ту пору

еще неопытным библиофилом, я с легкостью отдал их для прочтения одному инженеру. А когда спустя некоторое время осведомился о них, он спокойно ответил:

— Да не знаю, куда делись. Лежали на журнальном столике, наверно, кто-нибудь из гостей их унес.

— И нельзя установить кто?

— Вряд ли...

Больше я этих книжечек не увидел.

Поэтические сборники Шкапской изредка попадаются в букинистических магазинах. Два из них я купил. Быть может, встретятся и другие. Но те, с автографами поэтессы, так и пропали без вести...

Но напоминает Марию Михайловну многое — ее стихи, очерки. Лучшая память о человеке — плоды его трудов. Марии Шкапской нет больше в списке членов Союза писателей, но в списке советских писателей имя ее сохраняется.

Тем более огорчил меня один разговор, при котором пришлось случайно присутствовать. В библиографический кабинет Союза писателей зашел один из работников отдела творческих кадров союза. Ему понадобилась справка о Шкапской — вероятно, для ответа на чей-то запрос. «Это была, кажется, детская писательница»,— заметил он.

Сохраним заслуженную память о тех, кто в меру своих сил и дарования трудился в области русской литературы. Память об их работах и человеческом, неповторимом у каждого, облике.

НИНА СМИРНОВА

Литературная жизнь Петрограда в начале двадцатых годов текущего столетия никак не была похожа на современную, да и сам город, конечно, выглядел совершенно иначе, чем сейчас. Он сохранил свою величественную красоту, но казался пустынным, запущенным. Просторы площадей, перспективы улиц, проспектов, набережных были малолюдны. Дворцы сбежавших аристократии и крупного купечества долго стояли незанятыми. Да и обычные дома были очень слабо заселены.

Однако общее настроение было бодрым. После гражданской войны страна набирала силы, готовилась к большому строительству. Новые, молодые силы росли в советской литературе. Возникали группы, направления. Молодые литераторы собирались в разных местах, читали свои произведения, обсуждали их. Собирались в частных квартирах, друг у друга — ведь никакого жилищного кризиса не было.

Но чувствовалась необходимость наладить литературные собрания и при Союзе писателей. Кстати, тот союз не имел ничего общего с нынешним — далеко еще было до теперешнего союза, организованного после ликвидации различных объединений, нередко ожесточенно споривших между собой.

Тогда еще в распоряжении союза не было тех дворцов, в которых ныне помещаются писательские клубы. Первый клуб, организованный при Петроградском отделении Союза писателей, состоял из двух больших комнат в одном из домов на набережной Фонтанки. Все было там неправдоподобно скромно в сравнении с нынешним. Никакого обслуживающего персонала, кроме единственной приходящей уборщицы. Весьма непритязательный самодеятельный буфет. Самый ограниченный ассортимент мебели — преимущественно диваны вдоль стен.

И все же мы чувствовали себя там уютно, непринужденно, по вечерам кипела жизнь. Конечно, тон задавала молодежь, но было еще немало старых писателей, игравших заметную роль в дореволюционной литературе. Наиболее известным из них был Федор Сологуб, он и был вначале председателем Петроградского отделения и, несмотря на старость и болезнь, энергично участвовал в работе клуба, руководил некоторыми творческими собраниями и обсуждениями.

Однажды с чтением своего рассказа выступила молодая женщина, Нина Смирнова. Рассказ был незрелым, но несомненно талантливым. Это отметили участники обсуждения, указав также на его серьезные недостатки.

Нина Смирнова производила двойственное впечатление. Читала она слегка запинаясь, одета была несколько небрежно, речь сбивчива от стеснительности, походка и жесты угловаты. И в то же время в ней было что-то необъяснимо привлекательное.

Жизнь ее сложилась неудачно. Она мне рассказала кое-что о себе.

Родилась Смирнова в Сибири, в глуши, в совершенно некультурной семье, не получила в детстве почти никакого образования. А творческий талант пробудился в ней рано. Юной девушкой она послала свою рукопись В. Г. Короленко. Это была тетрадь, исписанная весьма неразборчиво и довольно сумбурными фразами. И все же в этом хаосе маститый писатель чутко разглядел недюжинное, еще не оформившееся дарование, привел громоздкую словесную груду в порядок, немало потрудившись над ней. Владимир Галактионович помог девушке встать на литературную дорогу. На всю свою недолгую жизнь Смирнова сохранила благоговейное уважение к Короленко, посвятила его памяти свою книгу «Закон земли».

Больших трудов стоило Нине выбраться из дремучей глуши. Пользуясь молодостью и неопытностью девушки,

родители рано выдали ее замуж за нелюбимого человека.

Но вот разразилась революция. Нина переехала в Петроград с мужем и маленькой дочкой Вероникой, в которой души не чаяла. Однако сначала она растерялась в огромном городе, оказавшись не приспособленной к самостоятельной жизни, нуждалась. Профессии у нее никакой не было. Она была настолько малоразвита, что в первое время, как сама мне с насмешкой над собой рассказывала, все допытывалась, где же в трамвае скрыта паровая машина, долго не решалась пользоваться таким диковинным приспособлением, как телефон. Болела душа за Веронику (Верку), которой приходилось отказывать во многом необходимом. Скверными были отношения с мужем, и вскоре она с ним рассталась.

И все же в этой беспорядочно воспитанной натуре обнаружилось то прекрасное упорство, которое дается сознанием правильно избранной цели. Как всякий подлинно талантливый и целеустремленный человек, Нина Смирнова могла бы сказать о себе словами Бунина:

> Не собьет меня с пути никто.
> Некий nord моей душою правит,
> Он меня в скитаньях не оставит,
> Он мне скажет, если что: не то!

Нина продолжала бывать в Союзе писателей, продолжала писать, несмотря на все тяжкие неурядицы своего быта. С легкой руки Короленко она научилась серьезно работать над своими рукописями, их все охотнее стали принимать журналы, а потом и издательства для отдельных книг.

Смирнова была по-настоящему талантлива.

Что такое талант?

По-моему, это — обостренная наблюдательность, страстный интерес к жизни и людям, умение творчески преобразовывать результаты своих наблюдений, придавая работам неповторимый отпечаток творческой инди-

видуальности. Нина Смирнова была щедро наделена всеми этими качествами. Она писала о том, что хорошо знала. Образы людей и природа Сибири в ее рассказах и повестях производят впечатление полной достоверности и глубоко волнуют.

И еще важно отметить: хотя в характере Смирновой отчетливо проявлялись черты богемы, она умела настойчиво и самоотверженно трудиться над своими произведениями.

На молодую писательницу обратил внимание М. Горький. Он неоднократно одобрительно отзывался о ее работах[1].

Кончилась материальная нужда. Смирнова вторично вышла замуж. Быт ее стал налаживаться.

Но тут Нину постигло большое горе. Заболела и умерла маленькая Вероника — самое дорогое для нее существо. Этот удар отразился на Нине очень тяжело. Но кто знает, может быть, она все же нашла бы в себе силы вернуться к творческой работе. Однако случилось иначе...

С тех пор как переехал в Москву, я систематически переписывался с Ниной Васильевной — дружеские встречи возникли еще в Ленинграде. Временами, выезжая на юг, а также возвращаясь в Ленинград, она навещала меня.

Но в начале тридцатых годов письма от нее перестали приходить. Ответов на мои письма не было. Я начал тревожиться. Тут кстати подоспел отпуск на штатной работе (в журнале «В бой за технику»), да одна газета заказала мне очерк о Ленинградском порте, и я поехал в Ленинград.

Прежде всего зашел к Горнфельду, благо он жил неподалеку от Московского вокзала, и спросил, что извест-

---

[1] См.: «Летопись жизни и творчества М. Горького», вып. 3, с. 558, 564, 570, 710.

но ему о Смирновой,— ведь писателей было еще немного и почти все более или менее друг о друге знали.

Услышал от него скорбную весть. Оказалось, Нина тяжело заболела. Организм, хотя и молодой, но, вероятно, ослабленный трудными условиями ранней юности и начала самостоятельной жизни, не вынес сложной операции.

Тогда еще не было в обычае у писательских организаций помещать в газетах траурные объявления о каждом умершем писателе, и смерть многих могла сразу становиться известной разве только ближайшему окружению.

Тридцати двух лет умерла Н. В. Смирнова, далеко не успев дать советской литературе всего, что обещало ее дарование. Но и то, что ею сделано, представляет немалую художественную ценность, и мне кажется, что из выпущенных ею книг следовало бы составить том избранного для современного читателя.

В ее книгах — Сибирь дореволюционная и первых пореволюционных лет, люди, еще хранящие следы свойственных царской эпохе дикости, уродливых черт характеров, порожденных забитостью и невежеством. Следовательно, книги эти кроме художественной имеют и познавательную ценность.

Сибирь уже далеко не та, и люди не те. Но в произведениях Смирновой запечатлен тот, навсегда ушедший, период жизни края. Поэтому странно, что я не нашел даже беглого упоминания о писательнице в Сибирской литературной энциклопедии. В Краткой литературной энциклопедии имеется маленькая заметка о ней (т. 6, с. 978—979).

ГЕОРГИЙ БЛОМКВИСТ

Короткая литературная жизнь Георгия Бломквиста промелькнула быстрым, но ярким метеором в середине двадцатых годов нынешнего столетия.

Это был рослый молодой человек, отлично сложенный, стройный, русоволосый,— счастливая, привлекательная внешность. При взгляде на него невольно приходили на ум средневековые викинги — быть может, его отдаленные предки. Но, помимо происхождения и скандинавской фамилии, он был вполне русским человеком — по родному языку и культуре.

Характер Георгия Карловича был так же обаятелен, как и его внешность. Он был на редкость доброжелателен и внимателен к людям. Мы, небольшая группа его близких друзей, глубоко уважали и любили его.

У него было еще одно привлекательное и крайне ценное для писателя свойство — неуемный интерес к жизни во всех ее проявлениях. Пытливо всматривался он в каждого человека, встретившегося на его жизненном пути, внимательно, но отнюдь не назойливо расспрашивал. Но то не было простое любопытство. Георгий Карлович держал себя и не как естествоиспытатель, изучающий какой-то экземпляр homo sapiens,— в нем чувствовалась неподдельная теплота участия, и потому его пристальное внимание не вызывало протеста, наоборот, люди охотно шли ему навстречу, доверчиво раскрывались перед ним. Вряд ли здесь была у него заранее осознанная практическая цель, и однако, как показывает его творчество, эти наблюдения откладывались в его душе и перерабатывались в художественные образы.

Как-то раз Георгий Карлович пришел ко мне чем-то взволнованный и умиленный. Оказалось, он увидел по пути трогательную сценку. Невзрачный мужичонка в чуйке нес на плечах своего мальца и зачем-то на минутку

спустил его на тротуар. Мальчонка вгляделся в отца и радостно воскликнул: «Ой, папка, какой ты красивый!»

Это трогательное несоответствие между внешней невзрачностью отца и восхищением сына, почувствовавшего красоту не самого отца, а их взаимной дружбы, и умилило Георгия Карловича. В том, как он об этом рассказал, почудилась подсознательная заготовка новеллы. Не получилось этой новеллы, как и многих других...

Что бы ни происходило в городе — все привлекало внимание Георгия Карловича. Он мог часами стоять у землечерпалки на Неве или канале, наблюдая не только за работой механизма, но и за обслуживающими его людьми. Открывалась выставка собак — и он проводил там долгие часы, хотя сам и не имел собаки. Интересовали его и животные, и обстановка выставки, но больше всего люди — собаководы, посетители. То был интерес не просто зрителя, а творческий, активный. Он смотрел, вдумывался, запоминал. Память у него была цепкая, память подлинного художника — это мы увидели по его рассказам.

Георгий Карлович работал преподавателем в школе, но у него оставалось достаточно времени, чтобы бывать везде, куда его влекло. Однако нередко после работы, посещения интересовавших его выставок, собраний, после встреч с друзьями или одиноких, вдумчивых прогулок по огромному городу он жаловался на сильную усталость, плохое самочувствие и среди дня ложился отдыхать. Эти жалобы так не вязались с его красивой атлетической внешностью, что мы не очень-то доверяли им и порой даже подшучивали, упрекая Георгия Карловича в причудах, мнительности. Однако он продолжал жаловаться, обращался к различным врачам. Они добросовестно обследовали его, но не находили никаких болезней. Лишь один врач наконец заподозрил туберкулез и назначил соответствующее лечение. Но это явно было

не то. Очень поздно мы узнали настоящую причину его недомоганий, подлинную болезнь...

Бломквист жил вдвоем с сестрой в обширной квартире своих покойных родителей на одной из тихих улиц Петроградской стороны, в большом благоустроенном доме. Впрочем, в тот период благоустройство было относительным: лифты не работали, газовая сеть, обслуживавшая до войны незначительное число строений, теперь вся бездействовала.

Однажды, зайдя к Георгию Карловичу, я застал у него молодую привлекательную женщину. Он познакомил меня с ней. Оказалось, что это его жена, которая жила отдельно. Детей у них не было. Почему они жили врозь? Георгий Карлович этого не говорил, а мы, естественно, не спрашивали: в каждой семье могут быть свои особенности.

В один подлинно прекрасный день Бломквист пригласил нескольких друзей и прочел нам рассказ «Гражданин Ножиков». Мы слушали с глубоким вниманием — это было произведение яркого, своеобразного таланта. В рассказе чувствовались следы некоторых литературных влияний, однако он носил отчетливый отпечаток творческой индивидуальности автора.

Рассказ отражал неповторимый облик тогдашнего Ленинграда с его огромными пустынными перспективами, с изумительной красотой, с печатью запущенности и смутным предчувствием нового подъема. На фоне подчеркнутого реализма возникали фантастические, галлюцинаторные видения. Четко наблюденная действительность сочеталась с гротеском, и это оказалось весьма убедительным приемом для изображения эпохи нэпа, людей и их быта. А все вместе запечатлело незабываемую картину города в определенный, характерный период его жизни.

Ободренный нашими отзывами Бломквист послал рассказ в московский журнал «Россия», выходивший

под редакцией И. Г. Лежнева. Ответ пришел очень скоро: рассказ принят. А вскоре прибыли гранки.

Но автора уже не было в живых. Бломквист заболел скарлатиной. Взрослые переносят ее хуже, чем дети. А тут еще болезнь осложнилась воспалением мозга. И в возрасте двадцати семи лет он скончался. Вскрытие выяснило причину осложнения: оказалось, что Георгий Карлович страдал тяжелым ранним склерозом мозга. Вот, значит, чем объяснялись его частые недомогания.

Я сообщил Лежневу о смерти автора рассказа. Редактор телеграммой попросил меня прочесть и вернуть гранки, а также прислать некролог, что я и сделал.

И вот вышел пятый номер «России» за 1925 год. В нем напечатан рассказ Бломквиста. В послесловии к нему редакция писала:

«Редакция журнала «Россия», как и вся литературная Россия, напряженно ждет нового писателя, который должен же, наконец, прийти с низов жизни на смену «мастерам и маститостям» и сказать свежее, молодое слово. С жадностью набрасываемся мы на все рукописи, идущие от авторов безвестных, начинающих, провинциальных: не прозевать бы рождения нового дарования, вовремя продвинуть. Но большинство таких рукописей — увы! — макулатура, и с грустью возвращаешься к кругу прежних авторов. И вот явился талантливый незнакомец, молодой писатель Георгий Бломквист. В его рассказе «Гражданин Ножиков» прозвучала нам острая нота, почувствовалось новое пореволюционное взятие жизни, художественное претворение этого нового. Мы отодвинули другие рукописи и других авторов — пусть скажет свое слово молодой и взволнованный, пусть начинает: за ним будущее. Не выпало Бломквисту будущее. Он умер в самом начале пути — двадцатисемилетним, в тот момент, когда верстались листы журнала с «Гражданином Ножиковым».

А в конце номера напечатан некролог.

Литературное наследие Бломквиста очень невелико. «Гражданин Ножиков» — самый большой из его рассказов: около двух авторских листов. Кроме того, в ленинградских периодических изданиях — в журнале «Ленинград» и альманахе «Ковш» — было опубликовано несколько острых новелл.

Невелико это наследие по объему — его, пожалуй, не хватило бы и на одну книгу. Однако оно вполне заслуживает быть спасенным от забвения, хотя бы включением в какой-нибудь коллективный сборник.

Мы, ближайшие друзья Бломквиста, были молоды и беспечны. Беспечность — моя, в частности,— проявлялась и в том, что я не заботился о приобретении и сохранении фотографий дорогих нам людей. Теперь с грустью думаю об этом. Но через все житейские передряги удалось сохранить, кажется, все немногие прижизненные публикации Георгия Карловича: пятый номер «России» с рассказом «Гражданин Ножиков», уцелевший листок из журнала «Ленинград» с рассказом «Пароходная служанка» и альманах «Ковш» с рассказами «Батько», «Сифилитики» и «Дуб мамврийский» (книга третья, Л., 1925). Этот последний подарен мне сестрой Бломквиста, беззаветно привязанной к нему. Она сделала на книге скромную дарственную надпись, но недобросовестный переплетчик на три четверти срезал ее. Так и храню дорогую для меня книгу с изуродованным автографом...

ИМАЖИНИСТЫ И НЕОКЛАССИКИ

Слава богу, сейчас у нас много поэтов, хороших и разных. Есть и плохие, но они тоже числятся поэтами. А зачем? Английский писатель Пристли заметил как-то: «Сказать о себе «я — поэт» — это то же, что сказать «я — хороший человек».

А ведь верно: разве актер должен говорить «я — артист» или живописец — «я — художник»? Лучше пусть так говорят о них критики, читатели, зрители. Поэт, артист, художник — не профессиональные, а оценочные термины.

Это я к тому, что речь пойдет о некоторых ленинградских стихотворцах.

Так вот, у нас много стихотворцев, хороших и разных. По справочнику Союза писателей, по статьям и книгам критиков они числятся все-таки поэтами. Ну, пусть. Хорошо бы, сами не называли себя так. Хорошо, что прозу не называют теперь так, как было принято огульно в дореволюционное время: изящная литература. (Впрочем, и к стихам это относится.) Не все ведь произведения изящны.

Нынешние наши стихотворцы не присваивают себе групповых прозвищ, как было некогда: символисты, акмеисты, футуристы и прочие. Они просто пишут хорошо или плохо. Не создают школ. Не ищут подражателей. Некоторые учат одаренных мастерству. Например, в Литературном институте. Но учат, оберегая и развивая их творческие индивидуальности.

Литературные группировки, как и в других родах искусства, до известной степени способствовали стиранию и стандартизации творческого лица. Конечно, в зависимости от степени своеобразия этого лица. Можно называть Ахматову, Гумилева, Мандельштама акмеистами, символистами или как-нибудь еще — это ровно

ничего не прибавит к восприятию их поэзии. Может быть, эти и подобные термины удобны для изучения истории поэзии. Ведь, например, определения барокко, готики и других стилей даны впоследствии, с временных расстояний. И древние греки называли себя таковыми только в комедиях нового времени.

В первое время после революции, очевидно, по инерции еще продолжали возникать литературные группировки, некоторые с прежними названиями. Всякие были, даже «ничевоки». От этих, конечно, ничего и не осталось.

В Петрограде я ближе всего познакомился с называвшими себя имажинистами. Ближе прежде всего из-за территориальных обстоятельств: жил неподалеку от них.

Это были лихие ребята, добрые парни, но талантом их бог обидел. Они знали это и пытались сперва примазаться к Сергею Есенину, иногда называя его своим главой. Из этого ничего не вышло: до Есенина им было как до звезды небесной. Отсутствие таланта они старались маскировать словесными выкрутасами, надуманными,изощренными образами, памятуя, что слово «имажинизм» происходит от французского image — образ.

Больше всех мне был знаком Семен Полоцкий — красивый приветливый молодой человек с несколько амбициозной, подчеркнуто четкой речью. Все это, конечно, с возрастом прошло бы, да и имажинистское фокусничество тоже. Уже тогда он постепенно становился добротным литературным работником — писал неплохие стихотворные книжки для детей, их выпускало частное издательство «Радуга». Экспериментирование со стихотворным языком помогло ему овладеть техникой стиха — нет худа без добра.

Почему я храню книжечки тех имажинистов, изданные, конечно, ими самими? Потому, что они помогают мне зримее воскрешать в памяти те во многом фантастические годы. Вольф Эрлих, Владимир Ричиотти,

И. Афанасьев-Соловьев, Григорий Шмерельсон. Трое последних вместе с Семеном Полоцким выпустили тоненькую книжечку в пять страниц под пышным заглавием «В кибитке вдохновенья». Но оно показалось им все еще недостаточно пышным, и внизу обложки набрано: «Из Петрограда к мамаше»,— хотя в тексте никакой мамаши нет. Были и другие сборники с заковыристыми названиями: «Задумчивый баркас», «Западня слов», «Длань души»,— и индивидуальные сборники: И. Афанасьев-Соловьев — «Завоевание Петрограда», В. Ричиотти — «Коромысло глаз» и т. п.

Маленькие тиражи реализовались преимущественно двумя путями: раздачей друзьям и рассылкой в редакции для рецензий.

На обложках некоторых сборников извещалось, что эта имажинистская группа выпускает книжки еще некоторых авторов, чьи имена так или иначе остались в литературе: Мариенгоф, Шершеневич, Кусиков, не говоря уже о Есенине. Но мне не приходилось встречать их в этой компании.

Неоклассики появились одновременно в Москве и Петрограде. Я вступил в эту группу в Петрограде, а зачем — сейчас никак не пойму. Скорее всего из желания как-то примкнуть к литературному процессу и в то же время из инстинктивного протеста против вычурности. Но мы, неоклассики, тоже, можно сказать, мало чего имели за душой в отношении творческих возможностей. Наименование группы, очевидно, должно было означать, что мы подражаем классикам. Но одновременно оно было и наглым, потому что мы в точном переводе называли себя новыми классиками. Это было удобно: никаких изысков, идти «по выбитым следам». Были в нашей группе два брата Смиренских, Борис и Владимир, Николай Дмитриев, еще несколько юнцов.

Из ленинградских неоклассиков мне больше всего довелось общаться с Владимиром Смиренским. Его

стихотворный псевдоним — Андрей Скорбный — вполне соответствовал мрачному характеру его стихов.

Впоследствии он переключился главным образом на литературоведение и в этой области достиг некоторых успехов. У меня имеется книга стихов и поэм К. М. Фофанова («Библиотека поэта», Большая серия, второе издание. М.— Л., «Советский писатель», 1962), составление, подготовка текста и примечания В. В. Смиренского. На титуле надпись: «Дорогому Абраму Рувимовичу Палей в знак старой дружбы труд моей жизни. В. Смиренский, 1962».

В последние годы жизни судьба забросила В. Смиренского в Волгодонск. Он там прочно обосновался, работал инженером. Но литературных своих занятий, главным образом литературоведческих, не оставлял. Он основал в Волгодонске литературный музей. Переписываясь со многими писателями, собрал громадное количество писем, имеющих интерес потому, что в них идет речь о многих фактах, касающихся литературной жизни, о различных произведениях, издательских делах. Считая, что такая переписка может пригодиться литературоведам, историкам литературы, я запросил музей, могут ли им пригодиться письма Смиренского, которых у меня собралось много за ряд лет, и, получив утвердительный ответ, отправил их туда. Думаю, что основатель музея одобрил бы такое решение, потому что он до самой своей смерти в конце семидесятых годов неустанно заботился о пополнении фондов, собирал автографы, эпистолярный и иконографический материал. Если музей будет сохранен, он послужит достойным памятником бескорыстному собирателю.

Здесь ради биографической точности мне придется немного отвлечься. В «Вечерней Москве» от 12 ноября 1988 года напечатана глубоко волнующая, трагическая статья Эдуарда Белтова «Расстрелянная литература». К ней приложен ужасающий мартиролог (в полноте

которого автор не уверен) московских писателей, уничтоженных сталинскими карательными органами. Нечего и говорить, что Эдуард Белтов делает огромной важности дело. Только поэтому считаю нужным помочь ему избавиться от неизбежных в таком сложнейшем деле случайных огрехов.

В этом мартирологе есть имя Владимира Смиренского. Владимир Викторович был репрессирован примерно в середине двадцатых годов. Несколько лет провел на «великих стройках». Но тогда еще репрессии не достигли такого «совершенства», как впоследствии, и по окончании сравнительно небольшого срока он был освобожден. После этого жил в Ленинграде, в Москве бывал наездами, и мы с ним довольно часто виделись. В многотиражке московских писателей «Московский литератор» от 16 декабря 1988 года было помещено письмо Е. М. Ольшанской из Киева. В нем, между прочим, говорится о Смиренском: «Он, действительно, был приговорен к расстрелу, его несколько раз приходили вести на расстрел (об этом мне рассказывали В. А. Рождественский и Л. И. Борисов, его ленинградские друзья, известные писатели). Но его не расстреляли».

Однако об этом мне Владимир Викторович никогда не рассказывал. Не хочу брать под сомнение достоверность искреннего письма Е. М. Ольшанской. Приходится предположить, что Смиренскому тягостно было воскрешать в памяти пережитые им ужасные минуты.

С тех пор как он поселился в Волгодонске, мы с ним регулярно переписывались. Когда письма от него в ответ на мои перестали приходить, я, зная аккуратность Владимира Викторовича, встревожился и обратился с вопросом к ленинградскому историку и литературоведу А. В. Шабунину: он, как я знал, тоже вел переписку со Смиренским. Андрей Викторович, по своему обыкновению, дал исчерпывающий ответ: в письме от 1 января 1978 года он сообщил: «Владимир Викторович Смирен-

ский, о котором Вы мне писали, к сожалению, не дожил до Нового года и скончался в больнице в один из непогожих декабрьских дней».

К числу моих личных грехов молодости относится сочинение «руководящего» документа — декларации неоклассиков. Это произведение у меня не сохранилось, о чем не сожалею. Наоборот, охотно вырубил бы его топором, если бы оно не было написано пером.

О вечере, на котором была зачитана эта декларация, была напечатана статья в журнале «Ленинград» (1923, № 3). Теперь я бы обеими руками подписался под этой статьей, если бы не побоялся обвинения в плагиате. Она была подписана инициалами А. Ш. Вовремя не поинтересовался, кто это, а сейчас от души пожал бы ему руку, если он еще здравствует. Привожу основную часть этой статьи:

«В Союзе писателей

Неоклассики

Алексеев, Палей, Смиренский... Имена пока мало известные русскому читателю. Однако выяснилось, что вся русская литература и поэзия шли по пути, указанному неоклассиками. Выяснилось это из декларации неоклассиков, торжественно зачитанной и комментированной Палеем 11-го июля в заседании Союза писателей. Немедленно после доклада стало ясно, что если заслуги неоклассиков сами по себе еще не доказаны, то достаточно этой единственной, чтобы обессмертить вновь возникшее направление. Шутка ли — быть маяком русской литературы на всем ее протяжении и притом делать это скромно, без шума, никому не внушая подозрений о своем существовании вплоть до ослепительного дня 11-го июля 1925 года. Гегель утверждал когда-то, что мировой дух завершением своего развития имеет его, Гегеля, философскую систему. У неоклассиков претен-

зии скромнее, но по крайней мере более обоснованы. Действительно, когда началось чтение стихов, то в памяти одни за другими всплывали воспоминания о крупных русских поэтах.

Вот не отсюда ли Блок черпал свое вдохновение, когда писал стихи о России?.. А вот откуда заимствовал Сологуб свои утонченные образы, свой скупой словарь... А вот где Гумилев добыл яркие краски своей поэтической палитры... Стихи моментами хорошие и искренние, но не проще ли было бы для торжества этой искренности перевернуть формулы декларации и честно признаться в своем подражании? Но организованное выступление на литературную арену требует манифеста. А все литературные манифесты, как известно, составляет бывший титулярный советник Поприщин. Он пишет их все по одной схеме: «В Испании найден король, он отыскался. И этот король — я!»

Прения, развернувшиеся вокруг прочитанного, сводились к уличению неоклассиков в подражательности».

А уже без иронии, весьма сурово и тоже справедливо выступила 14 июля того же года в анонимной (значит, редакционной) заметке «Новая вечерняя газета» (Ленинград). Вот эта заметка:

«В Союзе писателей»

(Литературное огарочничество)

Очередная поэтическая школа и очередная декларация, впрочем отрицающая самое себя, потому что восемь лет революции и дискуссия об искусстве показали, что русское направленчество (имажинизм и прочие измы) оказалось несостоятельным и в данное время плетется в хвосте неоклассицизма.

Итак, прекрасные незнакомцы оказались и на сей раз неоклассиками.

Что классицизм в искусстве принадлежит эпохам синтетическим, что он завершает, замыкает искания предшествующих течений, это — вообще верно. Но в частности?

А в частности, три молодых человека, выступивших в субботу в Союзе писателей, никоим образом не могут претендовать на синтетизм.

Дело — не в поэтическом таланте, я бы сказал, поэтической емкости каждого из них. Иные, например В. Смиренский, заслуживают даже внимания.

Но думать, что наступила пора замыкания некоего литературного круга, пора синтеза — сейчас, в переходную эпоху,— это сумасшедшие пустяки.

И три молодых человека это очень хорошо понимают, но тем не менее говорят глупости и, что важно, сами понимают это,— но говорят.

Почему? Просто они желают устроить скандал. С легкой руки предшествующих литературных школ они понимают, что литературному дебютанту без скандала никак не обойтись.

Но публика знает цену глупости. И поэтому, сколько бы три молодых человека ни приглашали одумываться русскую критику, последней одумываться нечего.

Литературное огарочничество останется огарочничеством».

Если с автором заметки и можно спорить в отношении его теоретических положений, то в оценке нашего тогдашнего выступления он, безусловно, прав. Да, желание устроить скандал. Да, огарочничество. Единственное утешение — в этих попытках мы не отличались от некоторых других литературных группировок, стремившихся с треском заявить о себе.

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА»

На книжке Александра Туфанова дарственная надпись: «Поэту Палею от Председателя Земного Шара Зауми. А. Туфанов. 27/IV 1925 г.». Держу эту книжку и вспоминаю автора...

На обложке, специально сделанной художником, значится: «Александр Туфанов. К зауми. Стихи и исследование согласных фонем. 1924. ПБ».

В книжечке всего пятьдесят страниц, но содержание ее разнообразно. Теория: «Седьмое искусство — заумь». Еще теория: «Фоническая музыка». Стихи. «Таблица речезвуков», схематические рисунки — тоже заумного характера.

Мне хочется понять психологию человека, который сам, быть может, понимал, что делает нечто нарочитое, ненужное, болезненно стремился привлечь к себе внимание хотя бы путем скандала, озорства... Почему?

Футуризм, крайнее выражение его — заумь. Как это далеко от нас, но оно было и по времени не так уж давно. Было — значит, из истории его никак не выкинешь.

Отступим еще назад: символизм, импрессионизм, акмеизм. Что можно возразить против значения символа в поэзии, изобразительных искусствах? Разве мы не встречаем его в самых реалистических произведениях? Разве не символичен Дон Кихот, образы Шекспира, Льва Толстого, Гоголя?

Разве не бесспорна ценность многих произведений импрессионистов?

Чем плох абстракционизм? Не тем, что он заранее провозглашает приоритет схематической формы над содержанием, а тем, что полностью исключает содержание. Но даже в таком виде он иногда может быть нужным для орнаментального искусства.

Спорны многие утверждения акмеистов, как и всякая

попытка уложить в схематическую программу принципы художественного творчества. Но то были серьезные — или они казались серьезными самим авторам — попытки обосновать методы творчества. Творчество поэта обусловлено мерой его дарования, умственного и художественного развития в данное время и миросозерцанием. Если ты не талантлив, не воспринимаешь мир поэтически и не умеешь его осмыслить, то, какого ни придерживайся направления, сторонником какого течения ни объявляй себя, ничего замечательного не создашь. Если ты талантлив и будешь пытаться подогнать свое творчество под рамки «направления» — только подрежешь себе крылья. Чаще всего бывает так: создаст поэт какую-то вещь, и потом она должна считаться произведением такого-то направления, течения, потому что автор к нему принадлежит или объявил себя его сторонником. А не вернее ли будет сказать, что течения правильно определяются потом, с временно́го расстояния, историками литературы и искусства, как потом определяется стиль эпохи?

Футуризм был нарочитым, но боевым и осмысленным направлением, много тут было и от озорства, от литературного скандала: желтая кофта, деревянная ложка в петлице, «Пощечина общественному вкусу», «Засахаре кры» («Засахаренные крылья» или «Засахаренная крыса»?). Но скандалы были и раньше и позже. Автор пресловутых «бледных ног» стал метром и классиком — по стилю и, пожалуй, по месту в литературе. У него было что сказать от себя.

У Хлебникова словотворчество и заумь были органичными, они исходили из его потребности в работе над языком. Он себя не насиловал: он и вправду был таким, каким подавал себя. Хлебников выходил из нормы человеческой психики и логики. То, что он включил себя в выдуманную им группу «председателей Земного шара», было далеко от действительности, но естественно

вытекало из особенностей его душевного склада. А были «здоровенные мужики», которые писали заумные стихи и статьи по теории зауми и притворялись неуравновешенными.

Туфанов отнюдь не был даровит, как Хлебников, но и не имел ничего общего с такими «здоровенными мужиками». Его писания не имеют сколько-нибудь серьезного теоретического и художественного значения. Тогда почему же я вспоминаю о нем?

Потому, что это был характерный в своей болезненности индивидуум. Графоман? Конечно. Но не простой — с надрывом. Сначала он печатал просто принципиально оторванные от жизни стихи. Лились потоки крови в первой мировой войне, а он писал банальные строки:

В лучах живой звенящей красоты,
В сиянье мигов светлых вечеров,
Для жизни тку я праздничный покров
И вижу, что в любви вся глубина,
Что в кубке солнечном ее вина
Вся радость жизни, мира красота.

Но таких стихотворцев были тысячи. А больное самолюбие искало выхода. И вот Туфанов выпустил «К зауми». Теоретические рассуждения «глубокомысленны» и наукообразны, вроде таких: «Весь земной шар поделен людьми на пространственные государства. А мое государство — вне пространственного восприятия; оно во времени. Пред входом в него я пою песни переходного периода, т. е. такие, в которых можно коечто еще «понять».

А вот «песни», то есть стихи, которые уже, очевидно, не требуют, да и не могут требовать понимания:

ТИИКМОБ

Тинвии родиимвед люуклет сууто сиигналь
Тинфее дебааре лоофе соонто саафин

Тьютиик рииттеепид роото шиидо шоодей
Фебиит финтоорпи тильфи тоольмью тееро.

И сам автор не искал в них смысла и не обещал его читателям. Важно было одно — выделиться, обратить на себя внимание. Цель эта, конечно, не достигалась, потому что книжек таких были сотни и все они незаметно для окружающих падали в Лету.

Туфанов был несчастный, физически неполноценный человек, горбун. Физически искалеченным с ранних детских лет был крупный критик и литературовед А. Г. Горнфельд. Но он был талантлив, очень умен и работоспособен и оставил заметный след в истории русской литературы. А у Туфанова не хватило оригинальности даже для того, чтобы выдумать себе титул.

А какой он был «председатель Земного шара»? В частной жизни это был очень дотошный и аккуратный работник, иначе он не мог бы занимать должность ревизионного корректора в крупном издательстве.

Вот такая у него была двойная жизнь: тщательная, добросовестная и, наверно, скучная для него работа на службе, а вне ее — болезненные, заранее обреченные на неудачу попытки выбиться на поверхность.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ЯЗЫКОВЕД. А. М. ПЕШКОВСКИЙ

С 1917 до 1922 года, когда я жил в Екатеринославе, там неоднократно менялась власть, пока наконец прочно не утвердились Советы. Чтобы продолжать обучение, прерванное в Петрограде, я поступил в Высший институт народного образования (примерно то же, что ныне педагогический институт). В то время были в моде сокращенные наименования по первым буквам, причем из этого выходило какое-нибудь слово, порой созвучное по значению с целью учреждения, а порой ничего общего с ней не имевшее или даже противоречившее ей. Так, например, Государственный институт музыкальных наук (нынешняя консерватория) сокращенно назывался ГИМН, а учреждения, занимавшиеся уголовными делами, соответственно носили ужасающие наименования УБИТО и ГУБИТО.

Высший институт народного образования имел легкомысленное название ВИНО. Среди его преподавателей выделялся языковед А. М. Пешковский, крупный ученый, специалист по русской грамматике, стилистике и методике их преподавания, временно переехавший на юг из Москвы.

Время тогда было скудное, и сейчас трудно даже представить себе, в каких тяжелых материальных и бытовых условиях жил Александр Матвеевич, как, впрочем, и многие другие. Однако он никогда не терял бодрости, был энергичен и исключительно добросовестен в своей научной и преподавательской работе.

На улицах Екатеринослава часто можно было встретить его невысокую, щуплую фигурку. Несмотря на хроническое тяжелое заболевание позвоночника, он был очень подвижен. Сложные бытовые заботы мало удручали его — во всяком случае, такое он производил впе-

чатление. Одно время за отсутствием обуви он ходил босиком, и тогда можно было заметить, что у него не хватает пальца на одной ноге. Однажды я встретил его с круглой корзиной, надетой на руку. В корзине лежали полученные пайковые яйца.

Житейские трудности он переносил спокойно, с той непринужденной простотой, которая равно далека и от любования либо кокетничанья своими неудобствами, и от стремления во что бы то ни стало скрыть их из ложного самолюбия. По виду не скажешь, что это крупный ученый. Но сожаления к себе он не возбуждал, так как всегда держался с простотой человека, знающего себе цену, но не щеголяющего ею.

Мы, студенты, глубоко уважали его — и за большие знания, и за смелость и оригинальность научных построений, и за блестящий талант лектора, делавший увлекательным читаемый им курс.

Лекции проходили в небольших неотапливавшихся помещениях. Студентов на них бывало немного. Но слушали с неослабевающим вниманием и интересом. Александр Матвеевич, собственно говоря, не читал, а рассказывал — живо, захватывающе. Зимой слушатели были в верхней одежде, лектор кутался в плед.

Пешковский всячески старался сделать свои лекции максимально доходчивыми. На лекцию, в которой говорилось об отдельных звуках языка, он принес добытую где-то настоящую человеческую гортань. От этого почерневшего органа исходил весьма ощутительный трупный запах, но лектор, без всякой брезгливости держа его в руках, наглядно показывал нам, как происходит артикуляция, какие части действуют в произнесении того или иного звука,— и нам становилось ясным многое, что без этого наглядного пособия было бы плохо усвоено и не запомнилось бы. Конечно, можно было использовать искусственное наглядное пособие, да не было их там в ту

пору. А часть трупа надо было где-то достать — он не поленился.

Выступал Пешковский и с эпизодическими публичными лекциями. Вот уже более полувека прошло, а во мне все еще живо впечатление от его лекции «Биологическая и нормативная точки зрения на язык». Это была лекция не для филологов, а для широкого круга слушателей — под широким кругом в данном случае я разумею не многочисленную аудиторию (наоборот, по обстоятельствам времени она была весьма малочисленна), а разнообразный круг интеллигенции различных специальностей. Это была лекция в полном смысле слова общеобразовательная. В популярной форме Александр Матвеевич изложил основные взгляды на развитие языка, и это было так живо и интересно, так обогатило представление слушателей об окружающем мире и способах выражения мыслей, что навсегда врезалось в память.

Когда жизнь вошла в нормальную колею, Александр Матвеевич вернулся в Москву, где у него была квартира и библиотека. Здесь я уже не принадлежал к числу его учеников. Среди наиболее близких из них был покойный ныне мой брат, впоследствии специалист по методике преподавания русского языка, профессор И. Р. Палей.

Знакомство, начавшееся в Екатеринославе, продолжалось.

Теперь Пешковский, конечно, одевался иначе, но, как всегда, выглядел очень скромно, чему отчасти способствовала его не весьма представительная фигура. В связи с этим вспоминаю курьезный эпизод.

Из-за своего некрепкого здоровья и лишенной пальца ноги Александр Матвеевич быстро уставал от ходьбы. Поэтому он носил с собой портативный складной стул. Однажды мы с ним встретились у гостиницы «Метрополь». Тогда это место еще не было таким оживленным, как сейчас. Пешковский поставил стул у стены здания и расположился сидя побеседовать со мной. Какая-то

проходившая мимо старушка посмотрела на стульчик, потом на сидевшего на нем пожилого человека, явно не собиравшегося уходить. Затем, движимая, очевидно, привычными ассоциациями, достала монетку и попыталась предложить ее Александру Матвеевичу.

Пешковский потом добродушно смеялся...

Был он не только добродушен, но и очень доброжелателен, всегда старался помочь своим ученикам и вообще знакомым. Он рекомендовал меня критику В. П. Полонскому, который тогда редактировал журналы «Новый мир», «Печать и революция» и «Красная нива», и я надолго стал постоянным сотрудником этих изданий.

Круг интересов — и притом активных интересов — Александра Матвеевича был очень широк. Он любил музыку и был глубоко музыкально образован. В Екатеринославе, когда скудная в тот период зарплата преподавателя ВИНО настоятельно требовала пополнения прожиточного минимума, он давал частные уроки музыки. И математики — потому что и математику знал отлично. Живя в Москве, он постоянно посещал концерты в консерватории и, безусловно, был одним из самых внимательных и увлеченных слушателей. Некоторое время в его квартире жили две консерваторки-пианистки и, конечно, много упражнялись на своем инструменте.

— Они вам, верно, мешают работать? — спрашивал Александра Матвеевича мой брат.

— О нет! — возражал он.— Они ведь хорошо играют.

Слабое здоровье не позволило Пешковскому дожить до глубокой старости — он умер всего пятидесяти пяти лет. Но успел сделать весьма значительный вклад в науку языкознания, создал свою школу. Его ученикам-лингвистам и надлежит рассказать о его научных достижениях. Я же здесь задался более скромной целью — запечатлеть несколько живых черточек его облика, которые сохранились в памяти.

М. И. ПОСТУПАЛЬСКАЯ

Все меньше становится милых спутников, которые животворили нам свет своим присутствием. Разве не была и не осталась М. И. Поступальская одним из самых любимых спутников читателей, писателей и, конечно же, ее друзей?

Негромкое, казалось бы, с виду литературное имя Марии Ивановны приобретает особое, значительное звучание, когда начинаешь охватывать памятью ее жизненный и творческий путь. Встает образ не только симпатичного писателя, но и большого, многостороннего человека. Впрочем, какое тут может быть противопоставление? Творчество Поступальской так сплавлено с ее жизнью, что разделить их невозможно. Да и незачем.

Читатели ее в основном — дети. И почти всю свою сознательную жизнь она провела рядом с детьми. До того как перейти на литературную и редакторскую работу, она преподавала в школе. Не так уж долго, но связь с детьми, радость общения с ними остались у нее на всю жизнь. Комната в коммунальной квартире в Сокольниках, где она жила с мужем, детским писателем и редактором А. Н. Абрамовым, была своего рода микрорайонной детской библиотекой. Книг у них было много. И постоянно приходили ребята из своего и соседних дворов, а так охотно приходят только туда, где привечают. Особенно увлеченно брали, конечно, научную фантастику, приключения. И еще — книжки А. Н. Абрамова о моделировании, самоделках. Не только брали книжки — тут была еще и микромастерская под руководством Александра Николаевича: он был большим мастером этого дела.

Все разговоры, все дела с ребятами велись на равных — как со взрослыми. В результате в детях воспитывались вкус к литературе, любовь к технике и точная

дисциплина: книги возвращались аккуратно и в полной целости.

Передо мной первая книжка Поступальской, «Плещеево озеро», выпущенная Детиздатом в 1941 году. Она давно исчезла с книжного рынка. Следует ли ее переиздать? Вряд ли. Плещеево озеро уже не то, и описанные в книжке люди — юные натуралисты — давно имеют взрослых детей, наверно, и внуков.

И природа не та, и люди не те.

Но что же все-таки покоряет в этой книжке, что создает то не поддающееся определению, чистое, радостное настроение, возникающее при ее чтении? Это — чувство неподдельной любви к детям, которое исходит изнутри, от самого автора, так близко и хорошо знающего их, как может знать только человек, непосредственно и любовно общавшийся с ними. Не случайно книжка написана от первого лица — одной из участниц познавательного туристского похода на озеро. Вот если бы удалось написать на нынешнем материале такую книжку, полную мягкого лиризма, внушающую действенную любовь к родной природе,— это было бы большое, стоящее дело. Да, для сегодняшних юных читателей эта книжка устарела, но для людей, любящих литературу, для работающих в этой области она не устареет никогда.

Уйдя из школы на литературную работу, Поступальская отнюдь не потеряла общения с детьми. И не только непосредственно, в своей квартире. Она обращалась к ним как автор ряда книг, как редактор детского издательства. Разделяя увлечение своих юных читателей, она особенно охотно работала над научной фантастикой. Под ее редакцией выходили книги И. А. Ефремова, Г. Б. Адамова и других фантастов. Она была чутким, внимательным редактором, не навязывала авторам чуждых им установок и оборотов речи, а мягко, по-дружески поправляла писателя в тех случаях, когда он сбивался с

верной интонации, понятной и близкой тем, к кому адресовался.

Мария Ивановна и в своих книгах обращалась преимущественно к детям, о них же по большей части и писала. И, наверно, живое, постоянное, непосредственное общение с ребятами способствовало задушевности, я сказал бы, интимности ее книг.

Такова повесть «На Лене-реке» («Детская литература», 1956), где жизнь дореволюционных школьников показана на фоне трагического события — расстрела правительственными войсками рабочих золотых приисков. Такова и повесть «Чистое золото» (то же издательство, 1960), юные герои которой — школьники-десятиклассники, живущие в районе золотых приисков. И речь идет в этой книге не столько о драгоценном металле, сколько о чистом золоте юных душ, раскрывающихся навстречу большой жизни,— здесь действие происходит уже в пореволюционное время.

Если же говорить о личных симпатиях (товарищам по перу они ведь не противопоказаны), то мне ближе всех две ее последние небольшие книжки: «Вечно живой. Рассказы об огне» («Детская литература», 1967) и «Планета океан. Рассказы о воде» (то же издательство, 1972, книга посмертная). Это книги уже совсем другого жанра — не сюжетные. Их, пожалуй, можно назвать научно-популярными. Такое определение верно, но недостаточно. Они очень лиричны. Автор беседует с читателем доверительно, то и дело обращаясь к нему непосредственно, словно бы устной речью. Это и делает книги глубоко впечатляющими, западающими в душу. И очень близка нам и своевременна неподдельная забота о природе, о чистоте окружающей среды; такой заботой проникнута в особенности вторая из этих книг.

Для полноты стоит упомянуть о книге «Обручев» (серия «Жизнь замечательных людей», «Молодая

гвардия», 1963). Книга написана Марией Ивановной в соавторстве, но ее фамилия на переплете стоит не по алфавиту, первой, из чего ясно видно, что основное авторство принадлежит ей. Адресована эта книга взрослым. Но Мария Ивановна осталась верна себе: с особенной любовью описаны детские годы выдающегося ученого.

Поступальская и Абрамов — это была «маленькая, но семья», жили они душа в душу. Но Мария Ивановна намного пережила мужа: он умер в 1943 году, всего тридцати семи лет от роду. Горе было велико, но не сломило ее — именно потому, что при ней осталась ее любовь к людям, и в особенности к детям.

В большой, но плотно уставленной книгами комнате в Сокольниках не стало микрорайонной мастерской, но осталась микрорайонная библиотека. Так же заинтересованно приходили девчонки и мальчишки, так же дружески-участливо беседовала с ними Мария Ивановна.

И так же упорно работала.

Не только с ребятами общалась она. Время от времени в комнате Марии Ивановны поселялась какая-нибудь обездоленная девушка, и хозяйка в полном смысле заменяла ей родную мать, кормила, воспитывала и «выводила в люди». Так она «вывела» свою домработницу — поспособствовала ей получить специальное полиграфическое образование, и девушка стала завцехом крупной типографии.

Прошло много времени, иных из воспитанниц Поступальской уже нет в живых, а другие хорошо работают и крепко помнят ее. Вот каким человеком была Мария Ивановна!

Жилищные неурядицы коммунальной квартиры в конце концов утомили ее. На средства, приобретенные нелегкой литературной работой, она купила половину зимней дачи в Голицыне, под Москвой. Тут привольнее

стало ее любви к природе. Она заботливо ухаживала за цветами, дружила с песиком Шубиком, который всюду сопровождал ее. Не все, но многие книги переехали с ней сюда. Они поместились в верхней, антресольной комнате, куда вело нечто вроде корабельного трапа. Это было не совсем удобно, но придавало своеобразный уют. Своим дачным жильем Мария Ивановна была довольна, ей здесь хорошо работалось и отдыхалось. Однажды она написала мне на новогодней поздравительной открытке: «Только что вернулась с прогулки с Шубиком и зажгла свет. В доме очень тепло, тихо, падает снег. Совсем предпраздничное настроение, если бы не груз лет за спиною, который сильно давит».

Но дело было не только в грузе лет: медленно, но неотвратимо уже подтачивала Марию Ивановну тяжелая болезнь — рак, который и свел ее в могилу. Но как героически боролась она с этой болезнью! Работала до конца своей жизни. Болезнь часто замедляла темп ее работы, но была бессильна снизить качество. Недаром же две последние ее книги — лучшие из всех написанных ею.

Постепенно Марии Ивановне становилось все труднее дышать городским воздухом, и пребывание в Голицыне стало затягиваться, захватывая осень и часть зимы. Но в конце концов, когда ее самочувствие сильно ухудшилось, ей пришлось окончательно перебазироваться в город с его удобствами. Кстати, подоспела и кооперативная квартира. Но недолго Марии Ивановне довелось ею наслаждаться.

В Голицыне еще была радость общения с местными ребятами. Но в последние дни в городе это было ей уже не под силу. Вся энергия уходила в работу, больше ни на что не хватало.

Но одинокой Мария Ивановна себя не чувствовала. Хоть и на дальнюю окраину Москвы, но друзья приезжали к ней, как раньше приезжали еще дальше —

в Голицыно, помогали в быту, который становился все более сложным по мере того, как она слабела.

Если у тебя много хороших друзей, значит, ты хороший человек.

Марии Ивановны нет с нами уже около двадцати лет. Но книги ее с нами. Память о ней — человеке, писателе, редакторе — с нами. И рядом с нами живут и работают выпестованные ею люди. Сохранилась не только «душа в заветной лире», но и преемственность чувств, мыслей, переживаний тех, кто знал ее, общался с ней. А в истории советской детской литературы она не будет забыта.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОПУЛЯРИЗАТОР. О. ДРОЖЖИН

Я встретился с ним в тридцатых годах в объединении авторов научно-художественной литературы при групкоме писателей, в Детгизе. И сам он был живой, энергичный, и книги его были живые, увлекательные, интересные...

Я написал — интересные. И призадумался. Снял с полки неоднократно переизданную книгу «Разумные машины», перечел теплую дарственную надпись, перелистал доходчиво для ребят написанные страницы. Живо? Да, безусловно. Увлекательно? Конечно. Интересно?

Да, тогда, более полувека назад, это было очень интересно. А теперь? Пожалуй, в значительной степени книга утратила интерес непосредственный, зато приобрела интерес исторический. Вот на примере таких книг видно, с какой быстротой развивается техника. Дрожжин рассказывает о диктофоне: «Заучив волнистые буквы, можно легко читать запись диктофона». Снисходительно улыбнется тогдашний читатель Дрожжина, теперь уже, конечно, старик: нынешний магнитофон сам читает вслух свою запись. Дрожжин рассказывает об автомобилях и лодках, управляемых по радио. А мы управляем по радио не только искусственными спутниками Земли, но и межпланетными кораблями, посылаемыми к отдаленным телам Солнечной системы, луноходами, которые возвращаются на Землю с образцами лунной почвы. И уж, конечно, Дрожжин не мог описать ЭВМ, которым куда в большей мере, чем тогдашним автоматам, подобает прозвище — фигуральное, естественно,— «разумные». Но кто упрекнет в этом Дрожжина? Наука обгоняет любую фантазию. Сам великий Резерфорд заявил в 1923 году: «В настоящее

время уже отнюдь нет той уверенности, как десять лет назад, что атомы элементов содержат скрытые запасы энергии».

Но на тогдашнем уровне науки и техники Дрожжин был вполне осведомлен в избранной им отрасли, и, конечно, не только его незаурядным дарованием популяризатора, но и научной добросовестностью объясняется то, что он так хорошо, весело и в то же время серьезно рассказал об автоматах, фотоэлементах и прочих очень нужных и занимательных вещах. Словом, книга получилась отличная, полезная не только для детей, но и для взрослых (впервые она вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1931 году), и мне захотелось поближе узнать автора.

Он и вправду оказался очень интересным человеком. Круг его жизненных интересов вовсе не замыкался техникой, с ним можно было говорить о многом. Но ничего удивительного нет в том, что в литературе он избрал путь популяризатора техники, и именно для детей. Точность и в то же время живость изложения — к этому он был подготовлен своим образованием и предшествующей работой. Точности и ясности мышления способствовала его учеба на физико-математическом факультете, который он окончил в Киеве. Доходчиво разговаривать с детьми он привык во время своей преподавательской деятельности. Рассказывая о науке, он умел подниматься до подлинной художественности. Вот взятый наудачу пример:

«Разогнав волчок как можно сильнее, Фуко... стал следить за меткой на наружном кольце. Через несколько секунд Фуко обнаружил, что метка перемещается в поле зрения микроскопа. На любого другого человека это скромное движение не произвело бы ни малейшего впечатления — в нем не было величественности извержения вулканов, или громовых раскатов бушующей грозы, или шума морского прибоя. Но Фуко в этом дви-

жении черточки на круге увидел нечто более грандиозное, чем любое явление на поверхности Земли: он увидел движение самого Земного шара вокруг его оси».

После автоматов Дрожжин увлекся автомобилями. Сейчас автомобиль у нас предмет повседневного обихода, а тогда автомашины были еще внове. В 1933 году Дрожжин выпустил маленькую книжку об автомашинах для ребят («Автомобиль», Детиздат).

Он не только «литературно» интересовался автомобилями. Их было у нас еще мало, но, как человек, достойный того, он получил разрешение приобрести машину бывшей тогда в ходу марки, научился водить ее, что тоже было редкостью. Надо было видеть, как любовно ухаживал он за своей машиной!

Дрожжин собирался написать большую книгу об автомобиле, но обстоятельства изменились: стало явственно ощущаться дыхание приближающейся к нашим границам войны. И, отложив уже начатую работу, Дрожжин отозвался на возросший интерес к военной технике. В книге «Удар и защита» (Детиздат, 1939) он так же увлекательно рассказал о средствах нападения и защиты и притом, как и в «Разумных машинах», дал историю их развития.

А уже во время Великой Отечественной войны он написал книгу «Сухопутные крейсеры» (Детгиз, 1942), с присущим ему умением изложив историю возникновения и совершенствования танков — интересно и в то же время обстоятельно. Но книга эта вышла уже после его смерти.

Я бывал у Дрожжина дома. Жилье его было не совсем обычным для того времени.

Сейчас никого не удивишь новостройкой. В Москве возникают все новые жилые массивы. Немало домов строится кооперативами. Тогда домов строилось гораздо меньше. Отдельная квартира в кооперативном доме была редкостью. У Дрожжина была такая квартира. Необыч-

ность ее сильно увеличивалась тем, что он применил в ней всевозможные технические усовершенствования, собственноручно им сделанные. Особенно замечательна и курьезна — с сегодняшней точки зрения — была ванна.

В те годы в Москве было очень мало домов, в которые был проведен газ. О саратовском газе тогда еще и не слыхивали. Москву снабжал этим топливом небольшой завод, построенный еще до революции. Домов с подачей горячей воды было еще меньше. Да и квартир с ваннами было не так много. А те ванны, которые имелись, большей частью нагревались дровяными колонками. Но Дрожжин справедливо считал этот способ примитивным и архаичным. Он применил для нагревания воды электроды. Когда он показал мне это нехитрое устройство, я с изумлением спросил:

— Но позвольте... Сколько же времени пройдет, пока нагреется ванна?

— Часов шесть,— невозмутимо ответил Дрожжин.— И, забавляясь моим недоумением, добавил:— Ну и что же? С утра наполню ванну, включу электроды и сажусь работать. К тому времени, как кончу, и ванна поспеет. Так что время зря не пропадает.

Беседовать с Дрожжиным было приятно и поучительно. О технике он знал много больше, чем написал в своих книгах, любил и умел рассказывать. И об окружающей жизни, о людях, о событиях говорил тоже всегда весело и интересно.

Как-то вечером он заехал за мной на своей машине и повез меня на Воробьевы — ныне Ленинские — горы. Вдали и внизу искрились и мерцали созвездия Москвы. Она казалась — да и вправду была — огромной, но много меньше нынешней. За нашими спинами не было колоссального здания университета, не было гигантского и беспрерывно растущего Юго-Запада столицы: он только намечался планом реконструкции Москвы. Перед

нами внизу не было великолепного стадиона «Лужники», а лежали неосвещенные пространства огородов.

Осенью 1941 года я уехал из Москвы, потом ушел на фронт, а вернувшись, не застал Дрожжина в живых. Он погиб вскоре после моего отъезда, полный творческих замыслов, среди напряженной работы, не достигнув и пятидесяти лет. И убил его, как мне рассказали, тот самый осветительный газ, которого тогда так еще мало было в Москве. Осколок авиабомбы перебил газовую трубу, очевидно, где-то на поверхности (где именно, мне задним числом не удалось установить), и Дрожжин отравился. Так оборвалась жизнь талантливого писателя, который мог бы создать еще не одну хорошую книгу.

Воспоминание о Дрожжине, о тогдашней обстановке наводит на мысль и о том, каким стремительным темпом развивается наша жизнь, как неузнаваемо изменились за половину века и наука, и техника, и наша Москва, и наш быт. А ведь в этот период времени включены и годы самой разрушительной из войн, которые когда-либо вело человечество. Сколько же даст любой такой же последующий отрезок времени, если человечество будет полностью избавлено от войн! Да если бы еще и от подготовки к ним!

Остается объяснить, почему, рассказывая о Дрожжине, я ни разу не назвал его по имени-отчеству. О. Дрожжин — это псевдоним. Звали его Николай Никитич Кондратенко. Почему он избрал для своего псевдонима фамилию известного поэта — не знаю. Значение же инициала О. он мне объяснил: это в честь его любимого сына Олега.

ГРИГОРИЙ АДАМОВ

Три романа Г. Б. Адамова стоят у меня на полке, отведенной научной фантастике. Только один из них с автографом автора. На двух других — надписи людей, имевших непосредственное отношение к самому автору или к его творчеству. Книги эти и надписи воскрешают воспоминания о друзьях и делах полувековой давности.

В тридцатых годах существовало творческое объединение писателей научно-художественного жанра при издательстве «Молодая гвардия». В это объединение входили фантасты и авторы научно-популярных книг — как молодежных, так и детских («Молодая гвардия» выпускала книги и для детей, Детгиз несколько позднее выделился как самостоятельное издательство).

Наша группа работала энергично, регулярно обсуждались книги участников. Здесь я познакомился, а потом и подружился с Григорием Борисовичем.

Вот первый опубликованный им роман «Победители недр», вышедший в 1937 году (на нем уже марка Детиздата). Автограф на титуле: «...соратнику по жанру, энтузиасту научной фантастики...» (сокращаю надпись за счет узколичных высказываний). Энтузиазм по отношению к фантастике у нас был общий, и выражался он, кроме литературной деятельности, в организационной работе по объединению.

Григорий Борисович был старше меня на семь лет, но почти на десятилетие позже вступил на путь фантастической литературы — вступил уже вполне уверенно и целеустремленно. Начал небольшими рассказами, затем вскоре выпустил эту, можно сказать, фундаментальную книгу — около восемнадцати авторских листов — для дебюта романиста неплохо.

Работящий, уважительный к друзьям, державшийся с достоинством и в то же время скромно, он импонировал всем нам не только как писатель, но и как товарищ.

Перечитывая сейчас этот роман, вижу, что он несет на себе родимые пятна эпохи, в которую создавался. Не столько внимания уделено людям, сколько технике (правда, очень в ту пору интересной) — аппарату для подземного передвижения: его устройству, способам и целям использования. При этом очень живо сообщаются различные научные сведения. Увлекательности изложения способствуют разнообразные приключения действующих лиц. Но, как и в большей части тогдашних научно-фантастических произведений, эти люди обрисованы схематично, показ их характеров, душевных переживаний не на уровне тех требований, которые предъявляются к художественной литературе и которым сегодняшняя научная фантастика удовлетворяет гораздо больше. Все же этот роман нашел свою читательскую аудиторию, дважды переиздавался.

Но гораздо большей популярностью пользовался второй роман Адамова, «Тайна двух океанов», вышедший впервые в том же издательстве в 1939 году и впоследствии неоднократно переиздававшийся. По теме он близок к жюль-верновскому «20 000 лье под водой». Однако это вполне самостоятельное произведение. В нем тоже немало популяризаторских страниц, но, как и у Жюля Верна, они с большей необходимостью вытекают из самой темы, чем в предыдущем романе Адамова. Главное достоинство этой книги в том, что здесь автору удалось более четко обрисовать действующих лиц, героев, как принято говорить о любых действующих лицах любого литературного произведения. Но в подлинно увлекательном научно-фантастическом произведении не обойтись без настоящих героев. И Адамову они удались в этом, лучшем его романе — в том и секрет его успеха у тогдашних ребят.

Не помню почему, но, когда вышло первое издание этого романа, я на некоторое время потерял из виду автора, и впоследствии его сын, писатель Аркадий

Адамов, подарил мне одно из посмертных изданий с надписью: «...с радостью подарил бы эту книгу автор. Делаю это за него» (Ленинградское газетно-книжное издательство, 1946).

Первого издания третьего и последнего романа, «Изгнание владыки» (Детгиз, 1946), Григорий Адамов не дождался — прохождение книги в издательстве затянулось. Мне подарила ее редактор — пользовавшаяся заслуженным уважением писателей и сама талантливая писательница М. И. Поступальская. Ее надпись также сокращаю за счет личного момента: «...соучастнику моих волнений и тревог по поводу этой книги...»

Владыка-холод, безраздельный властелин Арктики, преодоление его, настойчивая борьба с природными экстремальными условиями, которую приходится вести героям романа,— такова тема. Не обошлось и без вредителя, засланного врагами. Впрочем, это ведь не выходит за пределы возможного. Только сегодняшний автор, по всей вероятности, не показал бы врага столь беспомощным и так легко сдающимся. Но не забудем, что и эта книга вышла еще в младенческие времена советской научной фантастики.

Есть в романе и другие отпечатки того уже далекого времени. Так, здесь тоже много популяризаторских страниц, но благодаря самой теме они воспринимаются как вполне закономерные и читаются с несомненным интересом. И опять черта времени: борьба за покорение Арктики ведется с помощью атомной энергии, но представляет автор использование этой энергии на тогдашнем уровне. Да и могло ли быть иначе — не провидец же он был! И забавное впечатление производят сноски, разъясняющие «непонятное» для читателя того времени: что такое хронометр, радиолокация, эхолот, клаксон, вертолет (по-тогдашнему — геликоптер) и т. д. Нынешнему читателю такие пояснения не нужны.

Этот роман также неоднократно переиздавался.

Как я уже отметил, книги Адамова были вполне на уровне тогдашней фантастики, которую А. Р. Беляев назвал «золушкой», потому что она была в небрежении у работников литературы. Но что же тогда поднималось над этим уровнем? Разве только произведения А. Н. Толстого, А. А. Богданова, самого же Беляева. С трудом можно припомнить еще два-три имени.

Но не будем забывать, что работавшие тогда фантасты (если не говорить о халтурщиках, которых было немало) стали теми ступенями, по которым советская научная фантастика поднялась до своего нынешнего состояния, дав ряд ярких писательских имен, возглавляемых Иваном Ефремовым.

В истории жанра творчество Адамова занимает достойное место. Книги его сыграли немалую роль в обогащении юных граждан знаниями в области науки и техники и, что еще важнее, участвовали в воспитании их в духе мужества, патриотизма.

Если не бояться привычных формулировок, смерть застала Адамова в расцвете его творчества, которое продолжало крепнуть. Он упорно работал над собой, приобретал новые знания, следил за достижениями науки, учился преодолевать схематизм в изображении людей, который, что греха таить, свойствен и ряду нынешних фантастов. Не сомневаюсь, что его следующие книги были бы еще более удачны. Но и то, что он успел сделать, заслуживает благодарной памяти тех, кто любит детей, и в особенности тех, поныне еще здравствующих, кто были в свое время читателями его книг.

Перелистываю эти книги, и в памяти встает то время, когда мы, как умели, книгами, взволнованными статьями в прессе боролись за советскую научную фантастику в ранние годы ее становления и развития. Встает образ Г. Б. Адамова — доброго друга, даровитого и трудолюбивого писателя, посвятившего свое творчество любимым им юным читателям.

ВРАГ СИОНИЗМА.
Д. Я. АЙЗМАН

В годы, предшествующие первой мировой войне, живя в Екатеринославе, я был связан с местной газетой «Южная заря». Однажды мне сказали, что в город приехал Д. Айзман и пришел в редакцию «Южной зари», чтобы познакомиться с местными журналистами.

Я был еще гимназистом, но уже печатал в газете стихи и мечтал о дальнейшей литературной работе. Знакомство с «настоящим писателем» представлялось мне невероятным счастьем. Я тут же побежал в редакцию и увидел там человека лет сорока пяти, с веселым и слегка ироническим выражением лица. Пенсне на шнурке и бородка придавали ему некоторое сходство с Чеховым. Он снисходительно-ласково отнесся к юному стихотворцу, и у нас завязалось довольно прочное и длительное знакомство.

Айзман и в самом деле был настоящим писателем. Его рассказы охотно печатали толстые ежемесячники, горьковские сборники «Знание», издательства выпускали его книги и собрания сочинений.

Айзман избрал себе в русской литературе небольшой, но довольно четко очерченный круг деятельности. Он описывал главным образом жизнь русских евреев, которую очень хорошо знал. Он пользовался успехом у многих читателей. С большой теплотой и любовью писал о еврейской бедноте «черты оседлости» — печальный юмор этих рассказов роднит их с бессмертными произведениями Шолом-Алейхема. С едким сарказмом бичевал еврейских буржуазных эксплуататоров. В других своих рассказах и повестях Айзман полемизировал со сторонниками обособленности еврейского населения, с сионистами, лозунгом которых было создание для евреев «правоохраненного убежища в Палестине». Он

доказывал, что свободу и равноправие евреи могут обрести, только участвуя в общей освободительной борьбе всех народов, населявших Российскую империю.

В этом отношении показательна небольшая его повесть «На чужбине». Врач из России, еврей, после погрома эмигрировал во Францию, благоденствует с семьей, пользуется всеобщим уважением. Но жена его, которая еще тяжелее пострадала во время погрома, настаивает на возвращении в Россию, доказывая, что они должники перед родиной, что французские крестьяне (муж работает в деревне) и без них великолепно обойдутся, а русский мужик нуждается во врачебной помощи и стыдно в такое время укрываться от домашних невзгод за границей. «У мужика и у еврея интересы общие,— произносит она,— что бы там ни говорили, а наша судьба тесно переплетена с судьбой русского народа». Муж сперва возражает ей, но, чувствуя ее правоту, в конце концов соглашается с нею, и семья возвращается на родину. Устами жены врача со страстной убежденностью говорит сам автор. Однако он далек от того, чтобы рисовать идиллическую картину тогдашней России. С большой силой описывает он в других своих произведениях кровавые погромы, страшную нужду еврейской бедноты, задыхающейся в тесных местечках, куда их втиснула пресловутая «черта оседлости».

В общем, это был безусловно прогрессивный писатель. Правда, одно время он отдал дань моде на «сексуальные» рассказы в духе известного тогда «Санина» Арцыбашева, но то было в его творчестве случайным, преходящим явлением.

Беседовать с Айзманом было очень приятно. Он был отличный рассказчик — веселый, живой, остроумный, у него был большой запас жизненных наблюдений, и он охотно делился ими. Юмор, шутка были неотъемлемым свойством его натуры. Помню, как он однажды

пошутил: «Жизнь любит парадоксы. Бальзак венчался в Бердичеве, а Айзман — в Париже» (Бердичев был одним из особенно густо населенных евреями городов «черты оседлости»). Это так и было на самом деле.

На этот раз Айзман недолго пробыл в Екатеринославе, но спустя некоторое время поселился здесь уже на более длительный срок. Вот как это вышло.

Началась первая мировая война. Айзман жил в это время в Одессе. Со свойственным ему юмором он написал мне, прося найти для него с семьей на ближайшие осень и зиму квартиру в Екатеринославе, так как он боится, что если Одессу будут обстреливать немецкие корабли с моря и ему в легкие попадет осколок, то это будет вредно для его здоровья, ибо легкие у него слабые.

Мне посчастливилось найти для него очень удачное жилье. Семья моих родственников на длительный срок уезжала из Екатеринослава и уступила Айзманам свой деревянный особняк в лучшей, нагорной части города, с обстановкой и даже с посудой. В этот период я часто бывал у Айзмана. Он и его домашние были очень гостеприимны. Больше всего мне нравился огромный стол в одной из комнат особняка. На этом столе были разложены всевозможные газеты и журналы, получаемые Айзманом. Тогда существовал такой обычай: каждое издание в объявлении о подписке давало список своих предполагаемых сотрудников. Иные из них могли в этом году ничего и не напечатать в данном издании, но оно бесплатно высылалось им в течение всего года. А нельзя ли хоть частично позаимствовать такой обычай?

Я упомянул, что у Айзмана был большой запас жизненных наблюдений. Это и неудивительно: он много путешествовал. Его образ жизни был очень оригинален: он не имел постоянного местожительства. Обычно год его распределялся так: лето он проводил в одном из

маленьких, обильных зеленью городков Украины (Ромны, Гадяч, пригороды Киева и др.), весной, осенью и зимой жил в каком-нибудь крупном городе «черты оседлости» (Одесса, Екатеринослав) либо за границей. Особенно любил Францию, подолгу жил в ней, и потому действие некоторых из его произведений происходит в этой стране. Когда позволяло здоровье, он старался ездить по России в третьем классе пароходов и поездов, чтобы поближе сходиться с простыми людьми. Простые люди — русские, евреи — основные действующие лица его произведений.

Осенью многие писатели — не из самых крупных,— жившие в провинции, съезжались в Петербург. Здесь была у них излюбленная, довольно скромная гостиница «Пале-рояль», что значит в переводе с французского «королевский дворец» — название, мало соответствовавшее как наружному виду, так и интерьеру этого непрезентабельного здания. Гостиница эта находилась на Пушкинской улице. И тут происходила своеобразная ярмарка: издатели книг и журналов приобретали у писателей привезенные ими готовые произведения.

Приезжал сюда и Айзман. Но так как он не окончил высшего учебного заведения и не был купцом первой гильдии, то не пользовался правом проживания в Петербурге. А купцы первой гильдии, хотя бы и без всякого образования, не только сами имели право жительства в столице, но и могли ежегодно на определенный срок отправлять туда своего представителя для торговых дел. Этим и пользовался Айзман: он покупал у такого купца фиктивный документ, удостоверяющий, что якобы является его представителем в Петербурге на три месяца.

Айзман всюду путешествовал с семьей. Но семья у него была не совсем обычная. Она состояла из жены, врача по образованию, и ее сестры. Обе эти женщины были глубоко преданы Давиду Яковлевичу, окружали

его всяческой заботой. Только благодаря им и мог он вести кочевую жизнь, несмотря на свое слабое здоровье. А оно действительно было слабым, недаром он с таким грустным юмором писал мне об этом из Одессы: он страдал тяжелым пороком сердца.

Сейчас, через много лет, раздумывая об Айзмане, я с удивлением вспоминаю, что он ведь не имел нигде постоянной квартиры, библиотеки, постоянного рабочего места. Были и есть у нас писатели, которые много времени проводили не дома, в разъездах. Возьмем хотя бы Бунина. Но он постоянно возвращался к себе (разумеется, до эмиграции), была у него, конечно, и своя библиотека, и архив — как же иначе? Может ли писатель жить без своей библиотеки? Выходит, может, хотя это мне сейчас и непонятно. Что ж, каждый строит свою жизнь по-своему. Ведь мог Айзман создавать художественные произведения.

Однажды он любезно предложил мне посодействовать помещению моих стихов в «Вестнике Европы». Я уже печатался кое в каких журналах, но в толстые мне еще не удавалось попасть, поэтому предложение Айзмана меня очень обрадовало. Он передал отобранные мною стихи известному критику и литературоведу Д. Н. Овсянико-Куликовскому, который редактировал в журнале литературный отдел. Прошло немного времени, и я получил от Овсянико-Куликовского довольно подробное письмо, в котором он доброжелательно отзывался о стихах и сообщал, что некоторые из них будут напечатаны. Но тут меня смутило одно обстоятельство, и, приехав в Петроград в 1916 году, я на приеме у Овсянико-Куликовского задал ему такой вопрос:

— Дмитрий Николаевич, вот вы напечатали мое стихотворение, переданное вам Айзманом. Но ведь я посылал его вам ранее, и вы его забраковали.

Должен признаться, что, уличая таким образом редактора в непоследовательности, я пришел в ужас от

своей дерзости и готов был взять обратно вырвавшиеся слова, но было поздно. Однако Овсянико-Куликовский не меньше Айзмана обладал чувством юмора.

— Что же тут удивительного? — возразил он.— Возможно, в тот момент, когда я в первый раз читал ваше стихотворение, у меня болел живот.

— Но,— растерялся я,— при чем тут живот?

— Вот видите,— пояснил Овсянико-Куликовский,— в том же номере, где ваше, напечатано стихотворение Бунина «Людмила». Теперь я вижу, что это одно из лучших его стихотворений. А когда он прислал мне его, у меня болел живот, и оно показалось мне слабым. Если бы было подписано не «Бунин», а «Палей», я вернул бы его.

В остропарадоксальной форме Овсянико-Куликовский дал мне понять, что оценка произведения может зависеть не только от субъективного вкуса редактора, но и от его настроения, даже самочувствия. Надо было поблагодарить за откровенность, а я не догадался...

Революция уничтожила «черту оседлости», но ездить по стране в первые пореволюционные годы было нелегко, да и здоровье Айзмана с годами ухудшилось. И он наконец осел на постоянное жительство в Петрограде. Его произведения неоднократно издавались после Великой Октябрьской революции. А в 1922 году он умер в Детском Селе (ныне город Пушкин), в санатории Дома ученых, в возрасте пятидесяти трех лет. Вдова объяснила мне, что его порок сердца был настолько тяжел, что он прожил даже долее, чем она надеялась, безусловно, добавлю от себя, благодаря ее постоянной самоотверженной заботе.

Ныне Айзман забыт. Но я убежден, что лучшие его произведения выдержали проверку временем. Из них можно составить сборник, интересный и поучительный для современного читателя, в особенности для того, кто интересуется дореволюционной русской литературой.

ПИОНЕР ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Среди имеющихся у меня книг с дружественными автографами авторов одна из самых дорогих — тоненькая книжка Н. Н. Подъяпольского «В устьях Волги», выпущенная Госиздатом в 1927 году и подаренная мне в 1931 году.

С Н. Н. Подъяпольским я познакомился в издательстве «Молодая гвардия», где мы оба участвовали в объединении авторов научно-художественной литературы. Я уже смутно помню, как он выглядел, да и не в этом дело.

Николай Николаевич был одним из первых энтузиастов сохранения природных красот и богатств нашей Родины. Особенно внимательно он знакомился с природой устья Волги, ее дельты, где имеются богатейшие и разнообразные фауна и флора. В своей книжке, хорошо по тем временам иллюстрированной, он подробно описал эту местность, которая остро нуждалась в охране от бесхозяйственности и от браконьеров, хищнических добытчиков всякого рода, в особенности до революции и в первые пореволюционные годы. Описание это носит сконцентрированно деловой характер и само по себе очень интересно.

Но тем далеко не исчерпывается заслуга Подъяпольского. Тесно связанный с тамошними научными кругами, он в 1918 году совершил поездку в те края, в которой участвовал коллектив научных работников, а к ним присоединился поэт Велимир Хлебников. Поездка была отнюдь не туристическая, а деловая, исследовательская. В результате ее, собрав нужные материалы, Подъяпольский пришел к выводу о необходимости государственной охраны астраханских заповедников. Зимой 1919 года он приехал в Москву и обратился за помощью к А. В. Луначарскому. Тот сразу понял важность задуманного

Подъяпольским дела и направил его к В. И. Ленину с краткой запиской, в которой указывал, что разговор с Подъяпольским «может быть полезен». Луначарский не ошибся: побеседовав с Подъяпольским, Ленин убедился, что имеет дело с серьезным и активным сторонником защиты природы. Несмотря на крайнюю занятость, Ленин подробнейшим образом ознакомился с положением дела в низовьях Волги. Он дал указание разработать закон об охране природы не только под Астраханью, но и во всей Советской стране. Подъяпольский пишет: «С зимы 1918/1919 года охрана природы и повелась у нас как дело государственного значения». Не всем еще ясно было тогда это значение, но Ленин отчетливо сознавал его. По указанию Владимира Ильича был создан в первую очередь Астраханский заповедник, ныне носящий его имя. Надо отдать должное Подъяпольскому — он стоял у начала этого государственного дела как один из его энергичных инициаторов и пропагандистов.

Позже, в тридцатых годах, некоторые конъюнктурщики, как рассказывал мне Николай Николаевич, пытались дискредитировать его. Они, например, придирались к тому, что он настойчиво советовал сохранять при коллективизации стоящие на межах старые деревья, в которых гнездятся совы, истребляющие полевых вредителей-грызунов. На этом основании его самого пытались представить как вредителя, противящегося коллективизации сельского хозяйства, что было злостной выдумкой. В то время ему испортили немало крови, но он остался тем, кем был,— патриотом, страстным любителем и защитником природы. Он положил немало труда на организацию Астраханского заповедника. Его заслуги признаны — он там и похоронен, рядом с музеем. Об этом рассказано в очерке П. Кустова, опубликованном во втором номере журнала «Нева» за 1963 год.

Я, как сказал, плохо помню внешний облик Подъя-

польского, но у меня осталось незабываемое впечатление, которое производил его энтузиазм в беседах о природе, о том, как важно для нас, для будущих поколений беречь и умножать ее богатства. С тех пор этот вопрос приобрел еще более важное значение и остроту, и следует вспомнить добрым словом того, кто ратовал за это дело еще в первые годы существования Советского государства.

ОБ ОДНОМ СТРАННОМ ПСЕВДОНИМЕ

Незадолго до первой мировой войны в «Южной заре» стали появляться небольшие лирические зарисовки, подписанные странным псевдонимом — Вилли Кюхельбекер. Кому же пришло в голову взять себе в качестве литературного имени имя и фамилию реально существовавшего поэта-декабриста?

В январском номере журнала «Молодая гвардия» за 1957 год Э. Полоцкая опубликовала переписку А. П. Чехова с начинающей писательницей Риммой Ващук. Как известно, Чехов с исключительным вниманием и терпеливостью читал и рецензировал рукописи, присылаемые ему неопытными авторами. Так поступил он и с рукописью Ващук, тем более что нашел ее рассказ «очень хорошим». Однако указал и на серьезные недостатки, в том числе на неумение «правильно и литературно ставить знаки препинания».

Римму Ващук я встречал в Екатеринославе уже спустя ряд лет после ее первых литературных опытов. Теперь это была взрослая женщина, лет тридцати пяти, очень скромная, довольно миловидная, но, видимо, стеснявшаяся своего физического недостатка — слегка прихрамывала. Может быть, поэтому подчеркнуто сдержанно вела себя в обществе. Она стала педагогом-предпринимателем: содержала частную женскую прогимназию (прогимназия — это неполная гимназия, имевшая не восемь, а четыре или шесть классов). Надо полагать, что к этому времени она избавилась от неумения обращаться со знаками препинания, что было бы не к лицу руководительнице учебного заведения.

Римма Ващук оставалась верна своему юношескому литературному влечению. Ее наброски, путевые заметки были написаны пером культурного, порой оригинально мыслящего человека. Однако ни по стилю, ни по содержанию они не имели ничего общего с произведениями Вильгельма Кюхельбекера. Тем более непонятно, почему она избрала столь странный псевдоним.

Литературные выступления Ващук ограничились газетными публикациями. Писательницей она не стала.

КОМИССАР ГИМНАЗИИ

В частной гимназии А. Л. Фовицкого в Екатеринославе, которую я окончил в 1913 году, был, смело можно сказать, выдающийся преподаватель русской литературы В. Г. Зерчанинов. Армянин по происхождению, он был, по существу, русским человеком, вряд ли даже владел армянским языком. Говорил по-русски без всякого акцента, но чуть пришепетывал. Это сообщало его речи легкий индивидуальный оттенок и какую-то нотку задушевности. Владимир Георгиевич был сравнительно молод — лет тридцати — тридцати пяти,— но серьезен и сдержан, как человек средних лет. Женщины, наверно, на него заглядывались: он был красив, строен. Немножко странными казались на фоне его серьезного обличья румяные щеки. Одет он был всегда очень аккуратно, даже строго,— это придавало ему замкнутый вид. Да и жил он замкнуто, втроем с женой и домашней работницей (прислугой, как тогда говорили) в маленьком деревянном особнячке недалеко от центра города. Почти весь свой довольно приличный заработок Владимир Георгиевич тратил на книги, собрал порядочную библиотеку, выписывал толстые журналы. Хотя и жил замкнуто, как бы на отшибе от губернского общества, но нельзя сказать, что вполне чуждался людей. Во всяком случае, кое-кто из местной интеллигенции пользовался его книгами — он не держал их под замком.

Делу своему — преподаванию литературы — Владимир Георгиевич был глубоко предан. Его уроки были исключительно содержательны. Пожалуй, он несколько переоценивал нас, учеников старших классов: читал нам лекции, как студентам. Но те из нас, кто хотел работать самостоятельно, имели возможность извлечь из этих уроков очень много. Каждый писатель, каждое литературное явление подавались на фоне современной

ему общественной жизни — насколько позволяла гимназическая программа. Много говорил Владимир Георгиевич о критиках, об их отношении к писателю и его произведениям, об их роли в развитии литературы. Для того времени в средней школе это было редкое новшество.

Лекции были построены безукоризненно. Читал он без всяких записок или конспектов, ровным, не очень выразительным, но отчетливым голосом.

Видели вы когда-нибудь реку, накрепко скованную морозом, но не покрытую снегом? Под прочным ледяным панцирем неслышно, но зримо бурлит, мчится и вихрится вода, мелькают пенные водовороты. За размеренной, выверенной речью преподавателя ясно чувствовалась подлинная страсть, горячая любовь к литературе, она властно заражала тех из нас, в ком находила подготовленную почву.

А для него самого подготовка к таким урокам требовала напряженного труда. Оживить в своей памяти тексты литературных произведений, прочесть основное из того, что о них написано; систематизировать свои мысли — именно свои, а не заимствованные, так как каждый урок Зерчанинова был творческим, по-своему продуманным, его смело можно было печатать как журнальную статью; изложить их логически последовательно и в то же время образно; подготовиться так, чтобы передать их на уроке без сучка и задоринки,— все это очень и очень трудоемко.

Ну а как же с самостоятельной работой учащихся? Им ведь мало слушать лекции. Темы для классных и домашних сочинений Владимир Георгиевич тоже предлагал совсем не банальные. Продумать тему сочинения — это также требовало труда. А затем проверить сорок тетрадей — не ремесленнически, а профессионально и вдумчиво, отобрать образцы для прочтения в классе, подготовить обзор... Что и говорить, Владимир

Георгиевич был большой труженик, беззаветно любивший свое дело. Надо полагать, он когда-нибудь и уставал. Но мы этого не знали: всегда он ровный, на вид спокойный, снаружи холодный, внутри горячий. Более горячий, чем мы могли предполагать...

Мы его любили и уважали. Но и немного подтрунивали над ним — за глаза, разумеется. На фоне нашей юношеской порывистости уж слишком резко выделялось его внешнее спокойствие. При всей его влюбленности в литературу нам он казался чересчур аккуратным, педантичным, умеренным, благоразумным.

Мы, большей частью росшие в буржуазных семьях, плохо разбирались в политике и социальной жизни, но страстно ненавидели царский строй и, по аналогии со сдержанными манерами учителя, подозревая его в политической умеренности, дали ему прозвище — кадет. Кадеты — это была буржуазная конституционно-монархическая партия, которую царское правительство трактовало как чуть ли не революционную — даже такую партию!

Но как мы были далеки от действительности, приписывая Зерчанинову такую политическую окраску!

Разразилась революция, гражданская война. И, потрясенные, узнали мы, что Владимир Георгиевич — член коммунистической партии. В ту пору, когда на Украине беспрерывно сменялись различные власти, это было проявлением гражданской доблести, тем более что вскоре оказалось — он проявил себя как активист.

Владимира Георгиевича назначили комиссаром нашей же гимназии. Но не довелось ему поработать на этом поприще.

Екатеринослав на некоторое время подпал под власть белых. Как мне рассказали очевидцы, произошло следующее.

Занятий в гимназии в это время не было. Несколько учителей стояли у окна, обсуждая текущие

события. Тут же оказалось и несколько белогвардейцев. Вдруг во дворе появился Зерчанинов. «А вот и наш комиссар идет»,— промолвила одна учительница то ли по недомыслию, то ли по злобе — мне это так и не удалось выяснить. Белогвардейцы тут же выбежали и набросились на комиссара. Они зверски избили его, проломили прикладом череп. Но он был еще жив. Его удалось отправить в больницу. Осколок кости врезался в мозг. Он то терял сознание, то приходил в себя, промучился несколько суток и скончался на руках дежурившей при нем молодой поэтессы, глубоко уважавшей его, как и многие из местной молодежи — не только его ученики.

Так погиб вдохновенный труженик и отважный советский гражданин. Задолго до его смерти, по окончании гимназии, судьба забросила меня в Швейцарию. Весной 1914 года я вернулся домой на каникулы, но началась первая империалистическая война, и я больше не поехал в Женеву. Но пока там был, предполагал, что останусь учиться за границей, тосковал по родине, чувствовал себя одиноким. Вот тогда вспомнил о человеке, которого любил и уважал, и написал Зерчанинову, просил его переписываться со мной. Ответ пришел очень скоро. Владимир Георгиевич прислал открытку с видом Волги. На обороте было написано: «Буду очень рад. Пока коротко сообщаю Вам об этом, чтобы не откладывать».

В 1953 году пропала почти вся моя переписка, и в том числе эта открытка, которую я берег как реликвию.

ВСТРЕЧА С ЭВАРНИЦКИМ

Близилось время, когда на всей территории Украины народ стряхнул немецко-австрийскую оккупацию. Но австрийские войска еще оккупировали Екатеринослав (ныне Днепропетровск). В теплый летний день грустно бродил я по малолюдной нагорной части города, огромной площади, посреди которой возвышался собор и которая поэтому называлась Соборной. Конечно, в первую мировую войну оккупанты были еще не те, что при Гитлере, но все же это были империалистические захватчики. Они беспощадно выкачивали из страны продовольствие, что болезненно отзывалось на питании населения, и без того подорванном военными неурядицами. Таким образом, к моральным бедствиям присоединялись и материальные. Но и моральные были очень велики. Мне запомнился один символический штрих. Весь Днепропетровск пересекает проспект Карла Маркса — до революции, во время оккупации и белогвардейщины он назывался Екатерининским. Это прекрасная широкая улица с двумя аллеями старых деревьев. Она круто поднимается вверх на тогдашнюю Соборную площадь, которая господствует над большей частью города. Оттуда открывается великолепный вид на город. Но в то время он был отвратительно испорчен: на самой высокой точке горы я увидел пулемет, повернутый дулом на город и державший его под прицелом. Всего один пулемет — это и не так уж, казалось бы, страшно, но, направленный на город, он выглядел как занесенная над ним плеть.

Совершая свою печальную прогулку, я встретил высокого задумчивого, уже очень немолодого человека в темном потертом костюме. Я сразу узнал его. Это был известный историк и археолог Д. И. Эварницкий, энтузиаст истории Украины и запорожского казачества, директор областного краеведческого музея. Там под

стеклянными витринами были богато представлены результаты его раскопок: скелеты, снаряжение и бытовые принадлежности располагались в том же порядке, как были найдены в курганах. В одном оказалась даже горилка в стеклянном штофе; только тут я и узнал, что штоф — это прямоугольная бутылка. А во дворе стояли найденные на курганах и, очевидно, охранявшие их каменные бабы — примитивные древние скульптуры.

Даже в эти беспокойные и трудные годы Эварницкий энергично работал: преподавал в Екатеринославском университете, читал популярные лекции по археологии — как эпизодические, публичные, так и систематические — на частных общеобразовательных курсах.

А что обозначает фамилия Эварницкий? Просто переделка на русский лад украинской фамилии Яворницкий — от «явор» (тополь).

В дни строительства Днепрогэса поэт А. Безыменский в поэме «Трагедийная ночь» вывел реакционно настроенного профессора, безумно влюбленного в историю Запорожья. Придя в отчаяние оттого, что уничтожены днепропетровские пороги и вода зальет остров Хортицу, где находилась Сечь (на самом деле остров сохранился), ученый, не принимая современности, кончает жизнь самоубийством, бросаясь в реку. Некоторые были склонны считать Эварницкого прототипом этого ученого. Но в действительности у них только то общее, что Эварницкий был знатоком истории запорожских казаков и изложил ее в трехтомном труде. Он дожил до глубокой старости и умер в 1940 году академиком Академии наук УССР.

Я, как и многие в Екатеринославе, знал Эварницкого в лицо и при встрече почтительно поздоровался с ним. Он меня не знал и, вероятно, в другое время, вежливо ответив на поклон, прошел бы мимо. Но, быть может, из-за пониженного настроения или излишнего вынужденного досуга остановился и разговорился со мной.

Недалеко от направленного на город пулемета стоял высокий пустой пьедестал. Раньше на нем высилась статуя Екатерины II, обращенная к городу лицом, с простертой рукой. В начале революции памятник был сброшен. Эварницкий рассказал мне, что с помощью нескольких молодых людей он оттащил и зарыл эту тяжелую статую, чтобы сохранить ее. Конечно, не монархические чувства руководили им, а желание уберечь статую, которая была связана с именем А. С. Пушкина. Она принадлежала родне его жены — Гончаровым, долго хранилась у них в Полотняном Заводе, где ее предполагалось установить как памятник царице. Это намерение не было осуществлено, и тесть Пушкина пытался через посредство поэта продать статую, что тоже не удалось. В конце концов ее приобрело Екатеринославское дворянское общество и установило в качестве памятника в городе, носившем имя царицы.

Эварницкий пригласил меня к себе домой. Квадратная Соборная площадь была обставлена по краям маленькими особняками. Один из них, одноэтажный с мезонином, принадлежал Эварницкому. Почти весь он был загроможден вещами из раскопок. Здесь их было, пожалуй, больше, чем в музее, где для них не хватало места. Небольшое здание музея давно уже не вмещало в себя всего, что предполагалось там выставить. Рядом было начато строительство еще одного, значительно большего здания. Империалистическая война остановила стройку, и каменная коробка стояла пустая. После укрепления Советской власти музей был достроен и положение коренным образом изменилось. Но тогда Эварницкий с болью в сердце говорил о музее и об экспонатах, которые он был вынужден хранить под спудом, недоступными глазами людей.

Больше мне не приходилось встречаться с Эварницким. Но сохранилось благодарное воспоминание о встрече с маститым ученым, преданным народному делу.

Б. Ю. АЙХЕНВАЛЬД

Сейчас Литературный фонд имеет дома творчества для писателей и под Москвой, и под Ленинградом, и в других местах, в том числе в Крыму, на Кавказе. В этих домах писатель получает отдельную комнату и условия для работы и отдыха.

Но в начале тридцатых годов наша страна была еще недостаточно богата, чтобы предоставлять такие условия писателям. Однако Литературный фонд и Союз писателей имели возможность направлять своих членов в дома отдыха Комиссии по улучшению быта ученых. Это были именно дома отдыха, а не творчества: отдельных комнат в них не было.

Один из таких домов находился в непосредственной близости от Москвы, в Узком, там, где сейчас расположен санаторий для ученых (теперь это в пределах города). Тогда это было гораздо более скромное учреждение. Отдыхающие размещались в палатах, по нескольку человек в каждой. В основном то были молодые научные работники.

Однажды Литфонд направил меня туда на отдых. Из соседей по палате я ближе всего познакомился с начинающим литератором Б. Ю. Айхенвальдом, сыном известного дореволюционного критика Юлия Айхенвальда.

То был высокий, отлично сложенный юноша спортивного типа: очень подвижный, ладный в походке, собранный. Лицо его, испорченное заячьей губой, не отличалось красотой. Но речь, походка и жесты — все было волевое, энергичное, без торопливости.

Он и впрямь был спортсменом: мне не раз приходилось видеть, как умело скользит он на лыжах с довольно крутой горы. Молодостью, весельем, бодростью веяло от него.

При всем этом он был талантлив. Сложись его судьба иначе, возможно, он остановился бы на каком-либо литературном жанре. Пока пробовал себя в разных.

В те годы поездка в Сванетию была еще очень нелегка: самолеты туда не летали, дорог хороших не существовало. И потому очень немногие туристы бывали там, а бывать было интересно: столетиями отрезанный от мира, маленький народ еще сохранял многие черты своего дореволюционного и даже более старого уклада. Хорошо, что быт этот ушел в прошлое, что народ приобщился к социалистической культуре. Но пока старый уклад еще существовал, следовало зафиксировать его в художественных образах. Это было интересно тогдашнему читателю и еще важнее для будущего, то есть для нынешнего, который тогда был будущим. Ведь того, что можно было увидеть более полувека назад, да в особенности там, в Сванетии, теперь уже не увидишь.

И вот Борис Юльевич побывал там и рассказал о своих наблюдениях в ярких, выразительных очерках. Они были напечатаны в ежемесячном журнале «Красная новь».

В том же журнале он поместил несколько критических статей. Они были написаны живо, интересно, а главное — отражали самостоятельную точку зрения автора на литературные явления.

И, наконец, он удачно испробовал себя в стихах. То были переводные стихи. В соавторстве с А. И. Смирницким он перевел «Сагу о Фритьофе» Тегнера (М.— Л., «Academia», 1935). Этот перевод — капитальный труд и по объему, и по качеству: переводчики сумели передать дух подлинника, индивидуальный стиль автора, запах эпохи.

После возвращения из Узкого я неоднократно встречался с Борисом Юльевичем. Но в конце тридцатых годов эти встречи оборвались — он был арестован и не вернулся.

ОДОЛЕВШИЙ ИСПРАВНИКА

Это была одна из наиболее колоритных фигур провинциальной журналистики. Репортер Григорий Семешко работал в екатеринославской газете «Южная заря». Она имела большой формат и смехотворный по нынешним временам тираж — около четырех тысяч. Однако у нее было несколько штатных сотрудников, и в их числе Семешко.

Внешностью он обладал характерной. Коренастый, плотный мужчина лет тридцати или немногим более, в просторном, подчеркнуто украинском одеянии: широкие шаровары, летом — вышитая рубашка. Говорил с украинским акцентом, хотя и не ярко выраженным. Речь неторопливая, как и жесты и все движения. Во рту неизменная трубка. На вид он производил впечатление флегматика. На самом же деле это был человек редкой энергии и настойчивости в работе.

Однажды Семешко прославился на всю Россию.

Полицию одного из уездов Екатеринославской губернии возглавлял исправник по фамилии Неровня. Он был тесно связан с содержательницей дома терпимости. Несчастные девушки, попадавшие в эти дома, и вообще-то были рабынями хозяев — об этом убедительно рассказано хотя бы в повести А. И. Куприна «Яма». А тут еще добавочная зависимость — и от кого? От самого главы уездной полиции. Жаловаться было некуда. Хозяйка делала с ними все, что хотела, их истязали за малейшее неповиновение. О том, чтобы оставить дом, не могло быть и речи. Они оказались в положении не просто крепостных, а таких, которыми в свое время распоряжалась знаменитая Салтычиха. Некоторые, отчаявшись найти управу, кончали самоубийством.

Семешко решил разоблачить эту историю. Дело было весьма и весьма нелегкое: в условиях царского режима

собрать компрометирующий материал против «хозяина уезда», найти доказательства.

Семешко сумел их найти и опубликовал. Вышел грандиозный скандал. Замять его полиции не удалось, дело получило широчайшую огласку. По своей ли инициативе или под давлением начальства Неровня покончил жизнь самоубийством.

Приобретя благодаря этому делу всероссийскую известность, Семешко был приглашен на работу в одну из центральных газет, и я надолго потерял его из виду.

Но в 1926 или 1927 году, точно не припомню, я встретил его в Москве. Он зашел ко мне и рассказал удивительную историю, которая в устах другого могла бы показаться, пожалуй, неправдоподобной. Но, зная прошлое Семешко, я не имел оснований усомниться в истине его слов.

— Зашел я как-то по газетному делу к екатеринославскому губернатору,— медлительно повествовал Семешко,— а губернатора как раз зачем-то на минутку вызвали из кабинета. Я, по своей репортерской привычке, на всякий случай потянул к себе лежавшую на столе поверх других бумагу и быстренько заглянул в нее. И что же? Это оказался счет палача, вешавшего революционеров по приговорам военно-полевых судов. Я запомнил фамилию и адрес, записать не было времени: губернатор мог войти в любую секунду. Но к его возвращению бумага уже спокойно лежала на своем месте. Выйдя от губернатора, я записал фамилию и адрес палача, хотя еще не знал, когда это сможет пригодиться. А после революции сообщил куда следует, и палач получил по заслугам.

К сожалению, после этой встречи я опять и окончательно потерял Семешко из виду.

ЭРАЗМ БАТЕНИН

Не то в конце двадцатых, не то в начале тридцатых годов случилось мне беседовать с Е. Ф. Никитиной о библиографии научно-фантастической и приключенческой литературы. И тут, к слову пришлось, она предложила познакомить меня с Эразмом Батениным.

Мне были известны его роман «Бриллиант Ко-и-Нура» и рассказ «Приз Эль-Мерта» в альманахе «На суше и на море» (М., «Молодая гвардия», 1928). Обе вещи приключенческие, с добротно построенными сюжетами, с неплохо очерченными персонажами, написаны ясным, выразительным языком. Автор безусловно обладал литературным дарованием. Подписывался он — Эразм Батени. Странный псевдоним: просто опущена последняя буква фамилии.

Позднее он объяснил мне причину происхождения этого псевдонима. Она оказалась очень оригинальной. Когда обложка романа была уже готова и надо было его переплести, кто-то не рассчитал и отрезал последнюю букву фамилии автора. И тут Батенин сказал: «Пусть останется так, это будет мой псевдоним».

Эразм Семенович принял меня приветливо. Это был плотный, невысокий, но стройный мужчина, немолодой, но моложавый. Он казался выше своего роста благодаря военной выправке. Жил он в старом одноэтажном особнячке в одном из переулков Арбата. Особняк целиком был предоставлен в его пользование, так как он занимал довольно крупную должность.

Выяснилось, что литературная работа для Батенина — своего рода любительское занятие. По профессии он был военный. До революции был полковником генерального штаба. После революции стал работать в Красной Армии. Работником он был вполне лояльным. Понять его психологию мне было нелегко. Как он

откровенно объяснил мне, военная служба для него — призвание, любимая работа, и ему не так важно, для кого ее выполнять, лишь бы хорошо выполнять. Не знаю, была ли это рисовка, но если и рисовка, то характерная. Я говорил ему, что считаю: убивать людей или способствовать убийству их — занятие несимпатичное само по себе и может быть оправдано только высокой целью завоевания свободы, защиты ее, защиты Отечества.

Батенин слушал меня внимательно и любезно, но равнодушно. Военное дело было для него и профессией, и призванием. Свои литературные произведения он откровенно признавал второстепенным занятием, а вот руководства по стрелковому делу писал с увлечением. Не помню точно, как называлась занимаемая им в ту пору должность — что-то вроде главного инспектора милиции по стрелковой части. Но это его не устраивало — он мечтал о строевой службе: «Дали бы мне полк где-нибудь на востоке, послали бы повоевать!» Военным делом он интересовался отнюдь не с какой-либо принципиальной точки зрения, а с узкопрофессиональной. Однажды он обронил такое замечание: «Если бы я был в Петрограде во время Февральской революции, не скажу, чтобы я совсем ее ликвидировал, но на несколько дней, во всяком случае, задержал бы».

А зачем ему нужна была бы эта задержка, раз революция все равно, как он сам потом понял, неизбежно совершилась бы? Ведь эта задержка означала бы только лишние и бесполезные человеческие жертвы. То была похвальба профессионала военного дела, гордящегося своим искусством и не думающего о жертвах.

Но контрреволюционером Батенин не был — во всяком случае, в тот период, когда я знал его. Он понял, что революция победила раз и навсегда, и честно служил народу, хотя и не руководствовался теми высокими побуждениями, которые свойственны революционерам.

В частной жизни он был человек добродушный, приветливый, гостеприимный. Под стать ему была его жена — уже тоже немолодая, высокая, худощавая, с внешностью породистой аристократки и такая же приветливая и простая в обращении. Как-то я пришел, когда Эразма Семеновича еще не было дома, и застал его жену за не очень подходящим для аристократической дамы занятием: она грызла семечки. В те годы это лакомство было в ходу, она и меня угостила им. В это время пришел Батенин. Стоя в дверях, он насмешливо улыбнулся и сказал: «Мужики!» Но тут не было ни презрения к крестьянам, ни осуждения нас — только добродушная ирония. Да он и сам тут же присоединился к этому занятию.

Батенин интересовал меня не только как писатель родственного мне жанра, но и как своеобразный человек, любопытный «обломок империи», сумевший все же найти свое место в жизни Советского Союза и, несмотря на отсутствие революционных убеждений, стать полезным нашему государству.

В конце тридцатых годов Батенин исчез.

ЗАОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С К. Э. ЦИОЛКОВСКИМ

В 1930 году вышел мой научно-фантастический роман «Планета КИМ». Как в тексте романа, так и в предисловии и научных комментариях, написанных профессором К. Д. Баевым, было немало ссылок на работы Циолковского, и я взял на себя смелость послать книгу ученому. Отклик его меня обрадовал: Константин Эдуардович прислал свою брошюру «Научная этика» с автографом.

Прошло несколько лет. Я стал работником аппарата редакции популярного журнала транспортной техники, носившего эмоциональное название «В бой за технику». Здесь я вел отдел «Транспорт в научной фантастике». Отдел составлялся так. Приводилась выдержка из какого-либо научно-фантастического произведения, излагавшая ту или иную идею автора о транспорте будущего. В последующих номерах журнала печатались статьи специалистов с оценкой научной обоснованности этой идеи. А иногда сами ученые предлагали свои идеи в этом плане.

Зная о широте научных интересов К. Э. Циолковского, мы решили привлечь его к участию в этом отделе, и он охотно согласился.

В двенадцатом номере журнала за 1933 год был приведен отрывок из романа В. Д. Никольского «Через тысячу лет», в котором был описан легкий индивидуальный самолет, приводимый в движение с помощью весьма компактного аккумулятора электрической энергии. Во втором номере следующего года Константин Эдуардович дал свою оценку этой идее, настолько краткую при максимальной четкости, что привожу ее целиком: «Конечно, полет фантазии, рисующей картины будущего, неограничен, но при нынешнем состоянии техники аккумуляторные самолеты неосуществимы.

Поэтому автор (инженер Никольский) дал лишь самые общие описания таких крыльев, не останавливаясь на деталях их конструкции».

А в третьем номере за этот же 1934 год Циолковский подробно охарактеризовал ходульный механический транспорт, которым пользовались марсиане в романе Уэллса «Борьба миров».

Можно сказать, что в том году Циолковский активно участвовал в нашем журнале. В пятом номере была помещена его статья «Плавучий остров» — о технической идее одноименного романа Жюля Верна, а в шестом он поместил статью «Принцип реактивного движения», в которой отметил как правильные положения, так и авторские промахи в «Планете КИМ».

Краткими, но исчерпывающими статьями отозвался Циолковский и на другие предложенные нами вопросы относительно высказанных в разных фантастических романах проектов транспорта, вакуумной трубчатой дороги, например.

Переписка с Циолковским продолжалась еще некоторое время, пока ее не сделала невозможной беспощадная болезнь, в недалеком времени сведшая его в могилу. Как дорогие реликвии храню я присланные мне некоторые изданные им самим брошюры — в то время, когда он еще пробивал дорогу к общему признанию своих идей, ныне широко известных, высоко ценимых во всем мире. Особенно дороги для меня те из его брошюр, на которых он поставил краткие автографы. Вот, например, на одной из них написано карандашом два слова: «Ничего, спасибо». Дело в том, что в предыдущем своем письме я спросил его о здоровье — не из простой вежливости, а потому, что, по доходившим до меня смутным сведениям, имел основание беспокоиться о нем. Но Константин Эдуардович, видимо, не любил распространяться на эту тему.

Эти брошюры выглядят внешне весьма непрезен-

табельно. Неудивительно, что сам автор писал на одной из них: «Замечу, что от продажи моих брошюр я не возвращаю и одной сотой затраченных денег».

Эти книжки были мне присланы в 1935 году. Но очень скоро положение в корне изменилось. Имя Циолковского приобрело широкое международное звучание, труды его стало выпускать государственное издательство солидными томами и большими тиражами. К великому сожалению, конец Константина Эдуардовича был уже близок...

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА

Там, где находится теперь новое здание Центрального Дома литераторов (Москва, ул. Герцена, 53), был до войны теннисный корт Союза писателей — на просторной площадке, окаймленной старыми липами и дубами. Хороши были эти деревья. Весной и летом они щедро зеленели, осенью обильно устилали землю шуршащей под ногами желтой листвой, зима украшала их кружевом заснеженных ветвей. Жаль было расставаться с этими деревьями, но другого места для постройки не было, а старый дворец Олсуфьевых давно уже стал тесен.

Кроме того, у Союза писателей был еще каток — во дворе соседнего дома № 52 по улице Воровского. Небольшую круглую площадку посреди двора, в центре которой сейчас стоит памятник Л. Н. Толстому, на зиму заливали.

Имелся и штатный работник, ухаживавший летом за кортом, а зимой за катком. Это был старый специалист своего дела — пожилой, высокий, малоразговорчивый человек. Кончилась его жизнь трагически: однажды, выпив лишку, он стал жертвой городского транспорта.

Союзом писателей были приглашены инструкторы по конькам и теннису, которые обучали писателей и членов их семей.

Инструктором по теннису работал заслуженный мастер спорта Е. С. Ованесов. Историки советского спорта, возможно, расскажут о нем как о спортсмене. Мне хочется запечатлеть несколько черточек его личности. Ованесов был еще далеко не стар, но болезнь (туберкулез легких), впоследствии сведшая его в могилу, уже лишила его возможности участвовать в соревнованиях, и он работал только в качестве инструктора.

Это был невысокий, худощавый человек, черново-

лосый, черноглазый, с нервным, очень выразительным лицом, мгновенно и отчетливо отражавшим перемены настроений. Внешность и акцент подчеркивали его армянское происхождение, но по языку и культуре он был русским.

Мне трудно сказать, чем объяснялось обаяние Ованесова, но он, несомненно, был обаятелен. Было что-то приятное в его манере разговаривать с людьми, хотя особенных внешних признаков доброжелательности в нем не замечалось. Но была какая-то внутренняя доброжелательность, внимательность к людям, умение сосредоточенно и вдумчиво слушать собеседника. Приятна была его культурность, проявлявшаяся в разнообразии и глубине интересов: он следил за художественной и спортивной литературой, был занимательным собеседником, по-любительски неплохо рисовал, лепил. Каждая из этих черт сама по себе хороша, но еще не объясняет личного обаяния человека. Однако, может быть, оно объясняется их совокупностью?

В занятиях с нами Ованесов был необычайно добросовестен. Иногда его добросовестность даже казалась нам чрезмерной. Он очень скрупулезно требовал знания теории (размеры корта, длина его сторон, стандартный вес мяча, высота натянутой сетки, расстояние ее нижнего края от земли, устройство ракетки). Заставлял все это выучивать по книге, запоминать цифры и затем дотошно выспрашивал. Если мы отвечали неправильно, всерьез сердился и даже угрожал, что не будет допускать незнающих к практическим занятиям. Правда, эти угрозы ни разу не приводились в исполнение.

Число занимавшихся было невелико, особенно когда наступали холодные осенние дни. Закрытого корта у Союза писателей не было, имелась примитивная тесная раздевалка. Лишь два-три энтузиаста занимались в белых спортивных туфлях, остальная форма одежды,

при всей требовательности тренера, уже строго не соблюдалась.

Могу смело сказать, что я был самым неспособным учеником из всей группы. Большей частью мы с Ованесовым, когда оставались вдвоем, только перекидывались мячами, очень редко он играл со мной партию ввиду явной бесполезности такого дела. И однако он со мной охотно занимался. Почему же? Да потому, что у нас с ним установилось дружеское общение на почве разнообразных сходных интересов. Поговорить с ним о литературе или даже просто на житейские темы было одно удовольствие. Суждения его были спокойны, содержательны и часто компетентны.

Отлично зная, что из меня теннисиста ни в каком случае не выйдет, Евгений Степанович тем не менее занимался со мной столь же добросовестно и требовательно, как со всеми другими. Разговоры — до и после корта. На корте все внимание мячу, ракетке, сетке. Напряженная внимательность взгляда, быстрота и точность реакции, правильность удара — за этим он следил неизменно. И однажды пошутил: «Палей мой самый любимый ученик, потому что вполне бескорыстен: знает, что никогда не выучится теннису, а все же учится».

Зачем же я все-таки учился? Ничуть не жалею о потраченном времени. И не только потому, что приятно было общаться с Ованесовым. И не только потому еще, что всякое занятие физкультурой, да еще под руководством специалиста, дает возможность двигаться на свежем воздухе и хоть в какой-то мере укрепляет мышцы, учит точности и координации движений, глазомеру и так далее. Но еще и потому, что я научился ценить игру мастеров и наблюдать соревнования с некоторым пониманием.

Но, впрочем, почему бы мне было и не считать себя отличным теннисистом? Правда, когда я играл партию с

Ованесовым, он побеждал меня со счетом 6:0. Но с таким же счетом он без видимого труда обыгрывал и лучших теннисистов нашей группы. Вот и выходит, что я был им равен.

Однако, оставив шутки в стороне, следует подчеркнуть, что то были крепкие, сравнительно молодые люди, к тому же прошедшие школу Ованесова и уже приобретшие незаурядное умение. А он был истощен длительной хронической болезнью, но зато обладал высоким мастерством. И как изящны и разумно-скупы были его движения на корте! Какая быстрота и точность реакций — без малейшей спешки и суетливости!

Довелось мне познакомиться и с женой Ованесова. Это была маленькая, хрупкая на вид женщина, очень скромная и мягкая по манерам, с негромкой приветливой речью. Кажется, она была русская — во всяком случае, по-русски писала детские книжки. Ее литературного имени не помню.

Многие уже забыли об Ованесове. Что ж, это закономерно. В некрологах часто пишут: «Память о покойном навсегда сохранится в наших сердцах». И обычно, хотя и невольно, лгут. Чтобы это не было в данном случае ложью, я и написал о нем.

САТИРИКОНЕЦ СЕРГЕЙ ГОРНЫЙ

Весной 1915 года Днепр вышел из берегов. Разлив был сильнее обыкновенного. Пострадали больше всего, разумеется, рабочие окраины Екатеринослава, особенно заречные пригороды — Амур и Нижнеднепровск. Там было несколько заводов, их рабочие жили в одноэтажных домах и лачугах вблизи берега.

Это было настоящее бедствие. Жителей затопленных домов разместили в некоторых общественных зданиях. Этого оказалось недостаточно, пришлось занять много железнодорожных вагонов. И так быт рабочих не блистал удобствами, а тут стало еще хуже.

Собственно говоря, этого бедствия можно было избежать: уже давно был разработан проект дамбы, которая должна была оградить низменные населенные места от наводнений. Не так уж дорого стоило бы ее строительство, но ряд лет шли нескончаемые споры о том, кому же взять на себя эти расходы: земству Новомосковского уезда, к которому относилась затопляемая местность, или заводам, чьи рабочие были основными страдающими лицами. Администрация заводов ссылалась на то, что они платят земству большие налоги — стало быть, из этих средств и надо брать на строительство дамбы. А земство настаивало на том, что заводы сами должны заботиться о своих рабочих.

По существу, это был спор между помещиками, заправлявшими земством, и предпринимателями — владельцами заводов. И те и другие не жили в затопляемой зоне. А рабочие, которых беда непосредственно касалась, голоса не имели, а средств — тем более.

Однако раз уж залило, надо было что-то предпринимать, к тому же могла нарушиться и работа заводов. Была образована комиссия из представителей губернских властей и администрации заводов, которая должна

была принять паллиативные меры, чтобы хоть как-то облегчить быт пострадавшего населения.

Я в то время работал репортером в газете «Екатеринославская мысль». Редакция поручила мне выяснить на месте положение пострадавших жителей, связаться с комиссией, узнать, что предпринимается.

Председателем комиссии был по должности губернатор. А главным ее деятелем — директор Днепровского гвоздильного завода А. А. Оцуп. Его общественное положение было гораздо выше моего, да и по возрасту мы были неравны: мне тогда было двадцать два года, а он был вполне зрелым человеком. Я немножко побаивался. Как он меня примет? Как будет разговаривать?

Но тут было одно обстоятельство, которое, как я полагал, мне поможет. Оцуп был не кто иной, как известный писатель-сатириконец Сергей Горный. Я же был печатающимся стихотворцем, мои стихи помещались в некоторых столичных журналах, а также в екатеринославских газетах.

Узнав номер служебного телефона Оцупа, я позвонил ему. Отозвался мощный баритон.

— Это Сергей Горный? — почтительно спросил я.

В ответ услышал резкое:

— Это Александр Авдеевич Оцуп!

— Разве это не одно и то же лицо?

— Смотря для кого. С кем имею честь?

Я назвал себя.

— Для вас одно и то же.

Воспрянув духом, я сказал, что мне поручено редакцией взять у него интервью по поводу наводнения. Он назначил день и час.

Ехать было недалеко, но поездом — это была первая станция по ту сторону большого железнодорожного моста через Днепр. Едучи, я размышлял: неужели директор завода ездит туда таким способом? И пришел к выводу: конечно, нет. В те времена работник такого

ранга обычно имел собственный, а скорее всего служебный «выезд» — экипаж с кучером, запряженный парой лошадей.

Выйдя из поезда, я увидел невеселую картину. Наводнение, правда, уже шло на убыль. Вода начинала спадать, но очень медленно. Однако на Амуре, расположенном особенно низко, все видимое пространство по обе стороны железнодорожной насыпи было залито. Деревья были погружены до вершин. Дома — до чердаков. Вот один домик стоит на возвышенности, и воды в нем поэтому нет, но она подошла вплотную к крыльцу. На крыльцо вышла обитательница дома, и ступить ей некуда: кругом вода. Улицы — вроде венецианских каналов, и по ним снуют лодки с жителями: пешком никуда не пройдешь. Длинным островом выступает над водой железнодорожная насыпь запасных путей. На ней ряд теплушек. Из окон выглядывают грустные лица. На вагонах расклеены объявления с указанием, где находится «питательный земский пункт». В общем, картина народного бедствия.

Заводских зданий наводнение, конечно, не затронуло: они стояли на возвышении, в отличие от жилищ рабочих, ютившихся вплотную к берегу Днепра.

Церемониал приема был соблюден полностью. Я вручил секретарю (секретарями тогда были преимущественно мужчины) свою визитную карточку и был приглашен в кабинет. Навстречу мне поднялся из-за стола крупный, весьма представительный мужчина. Во всем его облике, в манерах, интонациях было нечто барственное или, пожалуй, точнее — начальственное. Тон его был чуточку покровительственный, снисходительный, но, в общем, весьма корректный. Стараясь разговаривать с ним на равных (все же я был представителем прессы, которую тогда торжественно называли «шестой державой»), я помнил, однако, что он видит перед собой юного человека.

Оцуп подробно рассказал мне о предпринимаемых комиссией мерах. Рассказ его носил отчетливо тенденциозный характер. Он особенно упирал на то, что основные расходы по ликвидации последствий наводнения и по предполагаемому строительству дамбы должно нести земство: «Мы ему вносим громадные деньги в виде налогов». Но ведь эти деньги вносились вне всякой связи со стихийными бедствиями.

Оцуп уверенно, настойчиво излагал свою точку зрения. Я записывал (магнитофонов тогда не было).

Вдруг дверь открылась. Вошел секретарь:

— Приехал губернатор.

С барственным, картинным жестом Оцуп произнес:

— Пусть подождет!

Реплика явно была рассчитана на слушателей. Секретарь чуть пожал плечами и скрылся.

Закончив деловую беседу, я поднялся, чтобы попрощаться. Но, оказывается, это не укладывалось в церемониал приема. Оцуп попросил меня сесть и задал несколько незначительных вопросов. Это было сделано явно для того, чтобы встреча была завершена по его инициативе. Затем он встал, давая этим понять, что аудиенция закончена, и я откланялся.

Мой репортаж Оцупу не понравился. Я отметил в газетной статье, что заводам следует, во всяком случае, нести не меньшие расходы в борьбе с наводнениями, чем земству.

Свое недовольство он проявил при следующей встрече, которая состоялась у него дома по его инициативе и не имела делового характера. Причем это недовольство было едва уловимо. А вообще мы нашли общий язык на почве литературных интересов.

Оцуп жил в особняке на Новодворянской, аристократической улице Екатеринослава. Дома он держался совсем иначе — просто и в высшей степени любезно. Однако его ни на минуту не покидала свойственная ему

самоуверенность, хотя она носила вполне культурный характер. Да и вообще беседовать с ним было приятно. Я тем более дорожил этим знакомством, что в Екатеринославе больше почти не было писателей, если не считать кружков «молодых», в которых и я принимал участие.

Об Оцупе можно сказать, что в нем «смешались две натуры». Писателем он был очень интересным. Среди сатириконцев, к числу которых Оцуп принадлежал, он весьма заметно выделялся характером своего творчества. Его рассказы, точнее — эссе проникнуты глубокой серьезной задумчивостью, и юмор просвечивает сквозь нее, как подводные растения и животные проглядываются через глубинную полупрозрачную воду. Совершенно точно определяет особенность его творчества название одной из его книг — «Почти без улыбки». И это, конечно, настоящая литература, вполне профессиональная и не оставляющая читателя равнодушным.

А другая ипостась Оцупа — это удачливый делец, влиятельный, занимавший видное положение среди городской — отнюдь, конечно, не рабочей — общественности. Материальное положение его зиждилось, понятно, не на литературных гонорарах. Как директор хотя и сравнительно небольшого завода он получал тысячу рублей в месяц — оклад, равный губернаторскому. Не занимая никакой государственной должности, он чувствовал себя вполне независимым.

Что же все-таки преобладало в его натуре? Литературной работе он отдавал только досуг, который оставался после руководства заводом и выполнения престижных общественных, добровольно взятых на себя обязанностей. Но, вчитываясь в его книги, «почти без улыбки», с грустинкой жалящие близкую ему человеческую среду, думаешь: это и было для него главным, глубинным.

В ту пору, когда с ним общался, я довольно слабо разбирался в политике. Второй год шла разрушительная первая мировая война. Миллионы русских крестьян и рабочих переносили ужасающие страдания и гибли в окопах. Подспудно зрела, по временам прорываясь огненными языками, грандиозная революция. Чувствовал ли Оцуп грозную перспективу? Не мог не чувствовать — ведь он, хоть и начальственно, общался с рабочими завода. Но человеку, если он не принадлежит к числу натур, наделенных даром особой социальной чуткости, свойственна склонность чувствовать свой быт незыблемым, особенно приятный для него быт. Для Оцупа текущая жизнь складывалась благоприятно: он занимал солидное общественное положение, был материально хорошо устроен, пользовался признанием как даровитый писатель, хотя и не стоял в первых рядах литературы. Особняк его был уютен, импозантно обставлен, красавица жена была ему, по-видимому, доброй подругой (детей, помнится, у них не было).

Революцию он воспринял как землетрясение, навсегда выбившее почву из-под его ног. Вместе с женой он очутился за границей, испытав всю горечь добровольной и окончательной потери родины.

А ведь могло быть и иначе. Рядом с собой он мог увидеть совсем другой пример. Особняк не опустел. В нем остались жить сестра жены, врач, со старухой матерью. Я знаю об их жизни по рассказам моей ныне покойной сестры. Сестра моя окончила Днепропетровский медицинский институт, и в числе ее преподавателей была та самая свояченица Оцупа, профессор-хирург (фамилии ее не знаю). Она пользовалась уважением студентов. Правда, с особняком пришлось впоследствии расстаться, так как его снесли по реконструкции города. Это послужило профессору только на пользу, потому что вместо особняка, причинявшего теперь немало хлопот, она получила комфортабельную

квартиру в новом доме да еще возмещение за утраченную недвижимость.

Не знаю, сохранили ли Оцуп и его жена контакт с оставленными родственницами,— времена потом были разные и сложные.

Знаю в Днепропетровске и другие подобные примеры. Богач Г. М. Карпас, владелец доходных предприятий, стал добросовестно работать в народном хозяйстве и как специалист был в Москве представителем треста «Грознефть», получил от государства для себя и жены удобную квартиру на Патриарших прудах — это было на первых порах большим преимуществом: в Москве существовал жестокий жилищный кризис.

Предприниматель и меценат Е. Л. Локшин, развернувший широкую деятельность при нэпе, впоследствии хорошо работал в совнархозе (по образованию он был инженер), а выйдя на пенсию, никак не хотел оставаться без дела. Энергично и безвозмездно работал в отделе писем газеты «Московский комсомолец», неутомимо ездил по городу общественным транспортом, расследуя жалобы и заявления. Свое восьмидесятипятилетие он встретил на этом посту, и сотрудники редакции любовно отметили в газете 23 сентября 1969 года юбилей своего «старшего товарища» (вот уж воистину старшего), а года через два им пришлось поместить теплый некролог.

Как жилось Оцупу за рубежом — не знаю. Вероятно, скудно. Но много хуже была ностальгия, тоска по родине. Писать он продолжал, даже печатался — тонкие его книжки выходили, конечно, бедненькими тиражами. В библиотеке имени В. Й. Ленина мне удалось познакомиться с одной из них — путевыми очерками «Янтарный Кипр» (Берлин, 1922).

Уже и проблеска улыбки нет. Есть жалящая грусть. Есть безвыходность. Есть мольба: «Господи! Верни меня

к тихой поступи, к нежным говорам, к тихим вечерам, с паутинками, летящими в воздухе. С сиреневыми кустами заповедными. Господи! Пожалуйста». Не только к иллюзорному господу, но и к реальной истории бесплодно обращаться с такими просьбами: обратного хода она не знает.

И все же...

Кто из оставшихся на родине мог быть уверен, что не постигнет его судьба многих и многих, уничтоженных неведомо за что? Уж не говорю о старых коммунистах, о сподвижниках Ленина, о бесчисленных партийных и беспартийных интеллигентах — ученых, писателях, журналистах, инженерах, врачах, общественных деятелях,— о мнимых кулаках, да и вообще о всех, коим несть числа.

Да, Карпас, Локшин, издатель И. Д. Сытин, бывший царский военный атташе во Франции генерал граф Игнатьев, возвратившийся при Сталине, благополучно (если не считать нервотрепки, которую разделяли с согражданами) закончили жизнь на родине.

Но вот в «Литературной газете» от 8 декабря 1988 года была помещена статья Леонида Почивалина «Кто они, эти эмигранты?». Там, между прочим, сказано: «Сколько их, покинувших Париж и Рим, Нью-Йорк и Торонто, Харбин и Аделаиду, завершили свои дни за колючей проволокой на Колыме и в Средней Азии».

Так можно ли винить Оцупа за то, что он, безнадежно тоскуя по родине, все же не решился вернуться?

Винить-то можно. И даже следует. Но его ли?

«КОРОЛЬ БИБЛИОГРАФОВ». Н. И. МАЦУЕВ

Так, в порядке доброй шутки, мы, несколько литературных друзей, называли Н. И. Мацуева — втайне от него, потому что, по скромности душевной, он бы этой шутки не принял.

А ведь его вклад в советскую библиографию поистине уникален и неоценим. Вполне заслуженно биограф В. Гура называет его «летописцем советской литературы». С 1926 по 1981 год систематически выходили его справочники — ценнейшее пособие для литературоведов, критиков, писателей, да и вообще для всех интересующихся советской литературой.

В 1962 году Союз писателей получил и заселил новую пятиэтажку близ станции Московского метрополитена «Проспект Вернадского». Здесь мы с ним впервые и встретились.

Насколько мне известно, Мацуев — единственный библиограф, которого Союз писателей принял в свои ряды. Это, наверно, и справедливо. Союз писателей — организация творческих работников. Библиографы выполняют работу по регистрации, учету, систематизации литературных произведений. Вряд ли это занятие подходит под определение «творческое».

Порой говорят, что творчество можно проявить в любой работе. Но если понимать слово «творчество» в узком смысле, так, например, как понимают его участники творческих союзов — писателей, композиторов, художников,— то оно означает создание образов — литературных, музыкальных, изобразительных. И библиограф к таким участникам не относится, каким бы выдающимся он ни был в своей сфере. Но, без всякого сомнения, хороший библиограф во сто раз лучше, чем плохой или средний писатель.

Правда, Мацуев нередко выступал в печати со статьями по вопросам книговедения. Но при приеме в члены Союза писателей он был признан именно как библиограф — так были расценены его исключительные заслуги в этой области.

С тех пор как мы познакомились, Николай Иванович аккуратно дарил мне каждую вновь выходящую свою книгу, и надписи на них отражают симпатичные черты его характера — жизнелюбие, жизнерадостность. Человек он был энергичный, подвижный, очень трудолюбивый и трудоспособный. Но издательские дела не всегда шли гладко — это тоже нашло отражение в автографах.

Впрочем, он подарил мне и некоторые справочники, выпущенные им до нашего знакомства. На указателе «Советская художественная литература и критика», вышедшем в 1954 году, он написал, имея в виду мое намерение купить книжный шкаф: «А все-таки, дорогой Абрам Рувимович, Вам придется приобрести книжный шкаф, хотя бы для «трудов» Н. Мацуева. 8 окт. 1964, Москва».

В том же году я получил от него указатель за 1954 — 1955 годы, вышедший в 1957 году. Намекая на мое книжное собирательство, он сделал надпись: «А. Р. Палею. Прошу «для коллекции» принять и эту книжицу от того же соседа-автора. 26.VII.1964, Москва». Точнее было бы, правда, сказать — составителя.

Справочник за 1958 — 1959 годы вышел, когда мы уже были соседями. В более пространном шутливо-ироническом автографе Николай Иванович отразил волнения и надежды новоселов, столкнувшихся с бытовыми неурядицами: «Эта книга преподнесена в дар Великому Пессимисту (я менее стойко, чем он, переносил неудобства освоения новой застройки.— *А. П.)* — новоселу 35-го квартала Юго-Запада г. Москвы... в надежде, что означенный новосел, прочтя все пере-

численные в справочнике произведения (достойные нашей эпохи), убедится в том, как (невзирая на дожди, бездорожье и проч.) наша новая Жизнь — прекрасна...»

На справочнике за 1960 — 1961 годы, вышедшем в 1964 году, Мацуев, добродушно посмеиваясь над моим простецким книжным знаком, написал: «...Прошу немедленно поставить штамп — «Из книг А. Р. Палея».

С каждым годом количество публикуемых произведений советской художественной литературы и критики неизменно возрастало. Соответственно возрастал объем справочников и, конечно, трудоемкость работы. Но труда Мацуев не чурался. Огорчало его другое — то, что издательства не очень охотно выпускали эти книги: они были сравнительно малотиражны и малорентабельны. Приходилось затрачивать непроизводительно много времени, сил, нервов, чтобы добиться выпуска очередного тома. Справочник за 1962 — 1963 годы вышел только в 1970 году. Надпись на нем отражает замаскированную шутливой формой горечь составителя: «Поскольку издание библиографии — дело почти фантастическое, с удовольствием преподношу эту книгу моему другу, писателю-фантасту...»

Последним при жизни Мацуева вышел указатель за 1964 — 1965 годы, изданный в 1972 году. Утомленный продолжающейся борьбой за выпуск своих книг, теряя постепенно силы из-за прогрессирующей болезни (диабет), составитель ограничился краткой (на этот раз примитивной) надписью: «...Примите и эту книжечку от Вашего друга». В «книжечке» почти 650 страниц.

Но раньше, еще в 1964 году, он обратился ко мне с неожиданной просьбой. Зная, что я посещаю приемный пункт переплетной мастерской, он вручил мне два солидных тома — библиографию «Художественная литература русская и переводная 1938 — 1953» — и попросил отдать их в переплет — непременно с золотым тиснением на крышке и корешке, снабдив меня

деньгами для уплаты за работу. Я охотно выполнил его поручение, но каковы же были мое смущение и благодарность, когда, принеся переплетенные книги, я убедился, что они были предназначены для подарка мне! И на первом томе красуется такой — тогда еще вполне веселый — автограф:

«Своих я книжек не жалею —
Даруя их А. Р. Палею.

Дорогому Абраму Рувимовичу на доброе, веселое воспоминание о «переплетных» и всяких других чудесно-странных делах и происшествиях на Юго-Западе».

Происшествия, действительно, случались, иногда и огорчительные.

Обычно в конце библиографических справочников помещаются два алфавитных указателя: названий произведений и именной. Но вот за первый из них порой приходилось воевать с издательством, экономившим на этом бумагу. А отсутствие такого указателя, естественно, понижает ценность справочника. Так получилось, в частности, со справочником за 1960 — 1961 годы. Мацуев решился на бескорыстную большую работу. С помощью жены, высококвалифицированной машинистки, он изготовил несколько машинописных копий списка названий и разослал их в главные библиотеки страны. Это должно было немало помочь посетителям библиотек в работе над справочником.

До сих пор не могу оправиться от изумления: только одна публичная библиотека — имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде — ответила благодарственным письмом. Все, без исключения, другие не прислали — ну не благодарность, но хотя бы сообщение о получении.

Последняя книга Мацуева, умершего в 1975 году,— «Русские советские писатели. Материалы для биографического словаря 1917 — 1967». Как и предыдущие,

она выпущена издательством «Советский писатель».

Это действительно материалы, а не биографический словарь. Мацуев собирал их в течение многих лет, тщательно и скрупулезно. Он брал их из всевозможных библиографических справочников, биографических сведений: предисловий к книгам писателей, статей о них — словом, везде, где только можно. Поскольку такие сведения появляются постоянно, постольку собирание их продолжалось тоже постоянно. Мацуев собрал огромную картотеку.

Если бы позволила продолжительность одной жизни, такие материалы выходили бы много лет подряд. Но она не позволила. Однако и в нынешнем своем виде эта книга — ценное пособие, несмотря на то что сообщаемые в ней сведения о писателях достаточно скупы: о каждом даются годы рождения и смерти, если он или она уже покойные, места рождения и кончины и указано, откуда эти сведения взяты. Не обо всех сообщены и такие данные.

Да иначе и не могло быть при том способе собирания материалов, который применил Мацуев. Но я не знаю иного возможного способа. А вы знаете?

Конечно, можно было бы по всем доступным адресам расспросить самих писателей, их родственников. Но это пополнило бы справочник не больше, чем стакан воды пополнил бы океан.

Как сейчас вижу Николая Ивановича, бодро вышагивающего от станции метро «Университет» домой, чтобы не баловать свой организм излишним отдыхом на колесах. Как сейчас слышу его слегка приглушенный старостью звучный голос, веселый смех, которого, правда, было больше в начале нашего знакомства, чем к концу. Он прожил сравнительно немало — восемьдесят один год. Но меня все не оставляет мысль, что он мог бы — скорее, должен бы — дольше оставаться спутником своих друзей на жизненном пути.

Чувство юмора не изменяло Николаю Ивановичу даже тогда, когда он думал о неизбежной кончине. Он загодя приготовил себе эпитафию, и она высечена на его надгробии на Ваганьковском кладбище:

Здесь библиограф погребен,
По-видимому, без возврата.
И после смерти точен он:
На камне правильная дата.

И тут же она, дата смерти: 21 августа 1975 года.

Вот и подтвердилась давняя поговорка: точность — вежливость королей.

РЕДАКТОРЫ НАЧАЛА ВЕКА

Баронесса Таубе

Среди множества выходивших до революции еженедельников «Весь мир» был один из самых распространенных и долговечных. Он издавался в течение ряда лет, тогда как многие подобные издания были эфемерными: выйдет несколько номеров, а то и один,— и журнал канет в Лету.

Еженедельники были весьма разнообразными, но их можно разделить на две категории: предназначавшиеся главным образом на подписку и рассчитанные на розницу. Те, что распространялись по подписке, были солиднее: они давали приложения, которые часто назывались бесплатными, хотя их стоимость, конечно, включалась в подписную цену.

«Весь мир» приложений не давал, и, хотя имел некоторое число подписчиков, тираж его продавался в основном в розницу. Редактировала журнал некая баронесса Таубе, она же поэтесса С. Аничкова. Не припомню, чтобы ее печатали другие журналы. В каталоге А. Н. Тарасенкова сборников ее стихов не значится, но у И. Н. Розанова указан сборник «Три пути» (СПБ, 1908). Названа типография — Министерства путей сообщения,— но на издательство указания нет. Обычно это обозначало, что издание авторское.

Однако своя рука — владыка, и во «Всем мире» стихи редактора появлялись. Были они весьма банальны. Однажды над их автором поиздевался известный юморист Аркадий Аверченко, редактировавший «Сатирикон». В одном из напечатанных стихотворений Аничковой оказалась такая отнюдь не блещущая оригинальностью строка: «В твоих объятьях я весь мир забыть готова!» Аверченко привел эту строку в «Сатириконе»

и тут же заметил: «Со стороны редактора недопустимо такое открытое пренебрежение к своему журналу».

Отсутствие литературного вкуса у баронессы Таубе роковым образом отражалось на редактировавшемся ею журнале. Он изобиловал серыми рассказами, очерками, стихами, иллюстрациями.

Впрочем, это объяснялось не только отсутствием вкуса. Редакция «Всего мира» (а в подобных еженедельниках редакция по большей части объединялась с издательством) руководствовалась твердым принципом: как можно меньше платить авторам, а по возможности и вовсе не платить. Поэтому литературные «имена» если и встречались изредка в журнале, то, во всяком случае, второстепенные. Но молодые авторы зачастую так стремились увидеть свои произведения в печати, что и не гнались особенно за гонораром.

Принадлежа к числу подобных авторов, я в 1915 году посылал в «Весь мир» свои стихи из Екатеринослава, и некоторые из них печатались в журнале. Однако я тогда еще не знал, каким принципом руководствуется редакция в отношениях с авторами, и от времени до времени обращался в контору журнала с просьбой выслать гонорар. Но странное дело: в то время как на письма, адресованные в редакцию, своевременно приходили ответы, контора (адрес тот же) неизменно хранила глубокое молчание, словно мои письма не доходили до нее, а проваливались куда-то в пропасть.

В 1916 году, приехав в Петроград, я подобрал несколько новых стихотворений и отправился в редакцию. Помещалась она на улице Жуковского, 23, в «собственном доме», как горделиво указывалось на обложке журнала. Редактор, как было объявлено в журнале, принимал «для личных переговоров» по средам от четырех до пяти часов. Я и явился туда в это время.

Обширная приемная редактора напоминала приемную модного вольнопрактикующего врача. Здесь сидело

много мужчин и женщин самого различного возраста — от зеленых юношей вроде меня до весьма солидных на вид дам. У всех на лицах было напряженное и даже несколько торжественное выражение.

Ждать пришлось довольно долго. Наконец очередь дошла до меня, и я вошел в кабинет редактора.

Это была тоже большая комната. За письменным столом сидела полная немолодая дама с очень важным видом. Это и был титулованный редактор. Я отрекомендовался и вручил ей листки со стихами.

Баронесса приняла меня милостиво. Сказала, что стихи мои ей очень нравятся, и обещала скоро прочесть их. Предложила приносить еще. Очарованный любезным приемом, я сообщил ей, что никак не могу получить гонорар за все уже напечатанное, и попросил распорядиться, чтобы контора расплатилась со мной.

С лицом редактора произошла мгновенная волшебная перемена. Приветливость разом сменилась ледяной холодностью. Вежливым, но бесстрастным тоном она сказала, что распорядится. Затем добавила, что у них в запасе много стихов и в новых они не нуждаются.

Гонорара я так и не получил. Моих стихов «Весь мир» больше не печатал.

А. А. и Н. А. Каспари

А. А. Каспари владел в Петрограде крупным издательским комбинатом, хотя издательство номинально принадлежало некоему «акционерному обществу». Оно выпускало разнообразные периодические издания, редактировавшиеся его сыном, Н. А. Каспари. Все это было какого-то второго сорта.

Главным журналом был еженедельник «Родина». Внешностью и содержанием он несколько напоминал «Ниву», издававшуюся А. Ф. Марксом. Но в «Ниве»

наряду с литературным мусором можно было встретить произведения видных тогдашних писателей. В «Родине» же печатались писатели рангом пониже, а чаще всего случайные люди. К «Ниве» давались ежемесячные литературные приложения. Переплетенный годовой комплект этих приложений представлял собой солидный том, в котором опять-таки встречались известные литературные имена. «Родина» также давала литературные приложения — двухнедельные. Они назывались пышно: «Сборник русской и иностранной литературы». Но эти сборнички и выглядели куда хуже, и заполнялись рассказами, стихами, анекдотами тоже явно случайного происхождения, свидетельствовавшими о невысоком вкусе редакции. «Нива» прославилась тем, что давала своим подписчикам в виде ежегодных приложений произведения лучших русских и иностранных писателей. Благодаря «Ниве» во все уголки России проникали произведения русских классиков XIX века, а также Горького, Короленко, Чехова, Бунина, Куприна, Вересаева, Андреева, Ростана, Уайльда и многих других, причем, несмотря на крайнюю дешевизну, в очень приличных изданиях. «Родина» также предлагала в приложениях собрания сочинений, но хотя тут и было полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (очевидно, потому, что он отказался от гонорара) — 82 тома весьма неприглядной внешности,— однако в основном давались произведения писателей сортом пониже, вроде исторических романов «русского Дюма», как его величало издательство,— князя М. Н. Волконского (кто его теперь помнит?), основательно ныне забытых Н. Северина, Г. Самарова, В. Крестовского и т. п. Да и внешний вид всех этих книг — бумага, печать — был похуже.

Но как это ни покажется неожиданным, комбинат процветал. Хотя и не такие, как у «Нивы» и ее приложений, но тиражи «Родины» и других изданий Каспари были массовыми и устойчивыми. Было тогда еще много

мещан, купцов, чиновников, духовенства, которым произведения Достоевского, Бунина, Бальмонта, Чехова, Горького, Короленко были чужды и непонятны, а князя Волконского и Северина они читали с удовольствием. Стихи, рассказы, романы современных писателей казались им декадентскими, а сентиментальные рассказы и стихотворения случайных авторов их вполне удовлетворяли. А редакцию к тому же устраивало, что авторам этих произведений можно было платить гораздо дешевле, чем известным писателям. Но все же в отличие, например, от «Всего мира» гонорар, хотя и небольшой, здесь платили всем.

Я посылал в издательство стихи из Екатеринослава, их печатали. Приехав в Петроград в 1916 году, я порой заходил сюда. Издательство и все его редакции, а также типография помещались в большом собственном доме на Лиговской улице, 114. Впрочем, у всех журналов — «Родины», «Всемирной панорамы», двухнедельного сборника — редакция была объединенная, и руководство ею воплощалось в лице Каспари-сына.

Будучи еще молодым стихотворцем, я стремился почаще видеть свои произведения в печати. Да и малый гонорар все же являлся некоторым подспорьем в студенческом бюджете. Отобрав с десяток стихотворений, я отправлялся на Лиговскую (Лиговку, как ее именовали в просторечии) в приемный день и час редактора.

Здесь все выглядело очень деловито. Необычайно важный, неразговорчивый ливрейный швейцар распахивал дверь, с которой и сам посетитель без труда справился бы. Столь же неразговорчивый гардеробщик спорым движением принимал одежду. Затем следовало дождаться своей очереди в приемной. На прием к Каспари приходило много народу. Здесь были какие-то дамы типа домашних хозяек, студенты, такие же молодые стихотворцы, как я. Если и попадались писатели, то разве что будущие. Ведь и Бунин однажды, в 1887 го-

ду, напечатал в «Родине» свое первое, слабое стихотворение. В общем, картина напоминала ту, которую я видел в редакции «Всего мира».

Наконец посетитель входил в кабинет редактора. За столом сидел худощавый человек с бесстрастным выражением лица. Вежливо, но сухо он предлагал садиться. Посетитель чувствовал себя как бы просителем в казенном учреждении. Редактор почти не смотрел на него, разговаривал односложно. Видно было, что его совершенно не интересует автор, лишь принесенный «товар», время же — деньги.

Не знаю, как прозу, а стихи Каспари просматривал тут же, в присутствии автора. Непонравившиеся возвращал, а понравившиеся считались принятыми. Отклонялось то, в чем были признаки своеобразия. Впрочем, так было не только у Каспари...

За принятые стихи он тут же выписывал ордер в кассу. Но это был не просто ордер, а как бы издательский договор — вполне кабального характера. На длинной узкой полосе бумаги печатно было указано, что издательство может опубликовать оплаченную вещь, когда найдет нужным и в любом из своих изданий, а автор не имеет права до тех пор нигде ее печатать, после же опубликования в течение трех лет не может включать ее в какой бы то ни было свой сборник. До сих пор никак не могу понять, зачем это издательству нужно было.

Сдав стихи Каспари, я не знал, когда они появятся и где — в «Родине», «Всемирной панораме» или в двухнедельных приложениях. Да и сама редакция этого, вероятно, заранее не знала.

Впрочем, кабальные условия меня не смущали. Ненапечатанных стихов у меня было достаточно, а издатели не стояли в очереди у моих дверей, добиваясь права выпустить сборник стихов. Получать же гонорар было приятно, хотя, как я уже сказал, он был невелик: Каспари платил пятнадцать копеек за строку стихов,

а в 1917 году, в связи с общим вздорожанием жизни из-за продолжавшейся империалистической войны и повышением цен на периодику, стал платить по двадцать копеек.

В те времена размер гонорара зависел не столько от материального положения издания, сколько от его «солидности». Так, например, толстый журнал «Вестник Европы», тираж которого едва доходил до полутора десятков тысяч, платил пятьдесят копеек за строку, а имевшее пятидесятитысячный тираж «Пробуждение» и даже «Нива» с тиражом в несколько сот тысяч — двадцать пять. В провинциальных газетах нормальным гонораром за строку стихов считалось пять копеек, за строку прозы — три. А маленькие провинциальные газеты платили за стихи две или даже полторы копейки — цифра уже, собственно говоря, символическая. Было немало изданий, которые вовсе не любили платить начинающим, даже тонкие ежемесячники: «Свободный журнал», «Новая жизнь», «Жизнь для всех». Ну а что касается авторов с именами, тут ставки, конечно, были особые. Бунин пишет в своих воспоминаниях, что газета «Русское слово» платила ему два рубля за строку прозы[1]. Известные поэты получали в толстых журналах по три рубля за строку стихов.

С ордером Каспари я приходил в кассу, и неразговорчивый кассир выплачивал деньги.

Однажды, придя с очередной порцией стихов и уже миновав у входа важного швейцара, я, обернувшись, машинально спросил его:

— Редактор принимает?

Вопрос был чисто риторический: здесь все было скрупулезно точным, в том числе и приемные часы. Однако швейцар ошеломил меня, лаконично ответив:

---

[1] Бунин И. Собр. соч. в 9-ти т., т. 9. М., «Художественная литература», 1967, с. 369.

— Нет.

Это было чрезвычайное происшествие. Я спросил:

— Значит, не пришел еще?

Швейцар окинул меня негодующим взглядом:

— Как же он мог не прийти, если уже наступил приемный час?

Совершенно уже недоумевая, я спросил:

— Но тогда... Почему же он не принимает?

— Кассира еще нет,— ответил швейцар, очевидно считая это объяснение исчерпывающим.

Николай Шебуев

Увлеченный игрой замечательной актрисы В. Л. Юреневой, я посвятил ей восторженное стихотворение и отнес его в редакцию театральной газеты «Зритель», помещавшуюся на Невском проспекте. Содержание этой газеты, имевшей вид журнальчика малого формата без обложки, составляли в основном театральные программы, а кроме того, там было всего понемножку: стишки, фельетоны, рецензии, статейки. Все это носило довольно поверхностный, но веселый характер.

Меня принял такой же веселый мужчина — редактор. То был писатель и журналист Н. Г. Шебуев, весьма колоритная фигура. Во время революции 1905 года он прославился тем, что издавал сатирический противоправительственный журнал «Пулемет», в котором сам был и редактором, и единственным автором текста и тем для рисунков. Шебуев неоднократно подвергался репрессиям со стороны царского правительства. Но революционером он не был. Его просто увлекла тогда революционная стихия. Вообще же он был типичным представителем литературной богемы, способным, но разбросанным и не очень серьезным. За что он только не брался!

Писал рассказы, стихи, критические книжки (о Горьком, Чехове), книгу о балете, издал собрание своих сочинений, редактировал альманахи, даже составил справочную книгу «Вся Казань». Словом, был мастер на все руки. И все это сделано не без таланта, но весьма поверхностно.

В ту пору, когда я с ним познакомился, Шебуеву было уже за сорок, но он выглядел значительно моложе благодаря своей неистощимой энергии и бодрости.

Стихи мои он напечатал с соответствующими комментариями. «Сегодня мы печатаем студенческие излияния»,— говорилось там. Впоследствии он часто печатал мои стихи, но гонорара не платил.

Студенты в то время (дело было в 1916 году), как правило, стипендий не получали. В поисках заработка я нанялся в шебуевскую редакцию ночным корректором. «Зритель» выходил тогда три раза в неделю, такая работа меня устраивала.

Шла первая империалистическая война. Назревала революция. Продовольственное положение ухудшалось. В ресторанах и столовых, а также, конечно, и в магазинах были введены «мясопустные» дни — два, кажется, или три в неделю. Затем появились и «лифтопустные» — для экономии электроэнергии. На фронте рекой лилась кровь изнемогавшей в боях русской армии, остро нуждавшейся в оружии, боеприпасах, продовольствии. А в то же время в тылу шел «пир во время чумы» обожравшейся бешеными спекулятивными прибылями буржуазии. Спекулировали решительно всем, чем только можно и чем нельзя. Пришел раз к студентке, изящной женщине, пылкой поклоннице Игоря Северянина. Сидит у телефона, ведет оживленную беседу: перепродает кому-то какие-то артиллерийские двуколки — заочно, она их и в глаза не видела. Кафешантаны, рестораны, театры были переполнены.

Одного из крупных спекулянтов и приспособил

Шебуев в качестве издателя «Зрителя». Уж не знаю, чем он его соблазнил, только, конечно, не прибылью. Может быть, славой мецената или знакомством с театральными кругами. Спекулянт печатал в «Зрителе» объявления, предлагая со своего склада оптом всевозможные, порой самые неожиданные товары: автомобили, ментол, железо, гайки, шкурки мерлушки, шурупы, деревообделочные станки и прочее, и прочее — прямо целый спекулятивный универмаг. Тут же сообщались адрес склада и номер телефона — они в точности совпадали с адресом и номером телефона редакции «Зрителя».

Спустя немного времени после февральской революции «Зритель» лопнул: то ли издатель вообще обанкротился, то ли ему надоело это убыточное предприятие.

За последний месяц Шебуев мне жалованья не заплатил.

— Понимаете,— чистосердечно признался он, разводя руками,— деньги-то я для вас от издателя получил, но пропил их. Что теперь поделаешь?

Поделать, действительно, было нечего. И притом не до того было: приходилось срочно искать новую работу.

Ничего революционного в этот период в Шебуеве не замечалось. К издателю он относился с каким-то насмешливо-презрительным подхалимажем. Однажды напечатал на обложке «Зрителя» его шаржированный портрет с подписью «Летадзи (латипак)». Читать эти слова следовало наоборот.

Шебуев был широко известен в литературных кругах. Маяковский упомянул о нем в одном из своих стихотворений. Дело было так.

Погиб известный бельгийский поэт-символист Эмиль Верхарн. Он читал где-то лекцию, оттуда поспешил к поезду, пытался сесть на ходу и попал под колеса. Маяковский откликнулся на это трагическое происшествие такими строками:

Сегодня на Верхарна обиделись небеса.
Думает небо —
дай
зашибу его!
Господи,
кому теперь писать?
Неужели Шебуеву?[1]

Забавно, что Шебуев привел эти строки в «Зрителе», хотя и в искаженном виде.

В «Зрителе» рекламировались книжки Шебуева. Характерны их заглавия: «Ночная принцесса», «Дьяволица», «Утеха воина», «Берта Берс (В сетях шпионажа)», «Прекрасная Елена» — в общем, всё «клубничка».

По ночам Николай Георгиевич часто заезжал в типографию из театров. Он сохранял живость, экспансивность, но временами грустил: быт усложнялся.

Однажды, приехав уже под утро, вероятно из какого-нибудь ресторана, он спросил меня:

— Звонил кто-нибудь?

— Жена.

— Которая?

Я опешил. Шебуев пояснил:

— У меня их две. И, естественно, две квартиры. На еду денег хватает, а на дрова нет. Приезжаю в одну квартиру — холодно, в другую — тоже.

Пока «Зритель» продолжал выходить, он придумывал всякие озорные штуки. Однажды объявил в газете: в праздничном номере «Зрителя» (о каком празднике шла речь — не припомню) появится новое, нигде не опубликованное произведение Леонида Андреева. Читатели были заинтригованы: Андреев был одним из самых известных писателей.

---

[1] Маяковский В. Собр. соч. в 12-ти т., т. 1. М., «Правда», 1978, с. 146.

«Зритель» закрылся, не дожив до того праздничного номера. Но среди бумаг редакции мне попалось это «неопубликованное произведение».

Незадолго перед тем в Петрограде начала выходить новая газета, «Русская воля». Поговаривали, что она каким-то образом связана с царским правительством, финансируется крупными банками. Дело было поставлено с большим размахом. Леонид Андреев был приглашен на должность заведующего отделом литературы и искусства. Ссылаясь на это назначение, он разослал всем театрам печатный циркуляр — просьбу предоставить ему два постоянных, разумеется бесплатных, места. Под письмом красовалось факсимиле подписи писателя. Экземпляр этого письма попал в руки Шебуева, который и собирался опубликовать его. А ничего не возразишь: хоть и эпистолярное, а все же произведение.

Приезжая ночью, Шебуев обычно тут же набрасывал коротенькую рецензию на новый спектакль. Она шла в качестве передовицы и отличалась остроумием, меткостью и... поверхностностью. А почерк был такой, что лишь один из наборщиков мог разобрать его. В те времена редакционных работников и наборщиков не баловали, не требовали представлять рукописи переписанными на пишущей машинке. А некоторые журналисты, главным образом из «хозяев», даже бравировали этим: как ни напишу — обязаны разобрать.

Впоследствии Шебуев переехал в Москву и поселился в бывшем Новодевичьем монастыре, где в ту пору жестокого жилищного кризиса жили еще некоторые писатели, как, например, Борис Садовской. Иные писатели в числе других граждан, не имевших более удобных квартир, устраивались на жительство и в других помещениях бывших монастырей.

В Новодевичьем Шебуев вел совершенно богемный образ жизни: у него собирались писатели, художники, музыканты, молодежь. Пили, шумели, многие приез-

жали, не будучи знакомы с хозяином, захватив с собой бутылку вина или что-нибудь из снеди.

Несколько лет назад мне довелось где-то прочесть, будто Шебуев умер в царской тюрьме. А недавно пришлось наткнуться еще на одну легенду о нем. В «Правде» от 22 июля 1988 года был помещен очерк об интересной коллекции, собранной жителем города Орджоникидзе С. Г. Чарским,— печатные издания, документы, денежные знаки и прочие вещественные свидетельства, иллюстрирующие разные периоды истории нашей Родины. По ходу повествования сообщалось: «Журнал «Пулемет» был прикрыт на пятом номере. Его редактор Н. Шебуев арестован и сослан на каторгу. Лишь в 1917 году Шебуева освободили».

Но Шебуев жил и работал в Петрограде до февральской революции. Доказательством этого могут служить хотя бы имеющиеся у меня несколько последних номеров «Зрителя» с редакторской подписью и театральными заметками Н. Г. Шебуева.

Прав, прав был Лев Успенский!

Но после того как я закончил эти воспоминания, пришлось снова задуматься о судьбе Шебуева. Он фигурирует в страшном списке уничтоженных сталинщиной московских писателей. Почему? Какая вина за ним была? Бессмысленно задавать такие вопросы. Тот невод закидывался куда как широко, уловы его были неограниченны...

Н. В. Корецкий

Корецкий издавал в Петербурге — Петрограде и сам редактировал двухнедельный журнал «Пробуждение». Журнал оформлялся с претензией на художественность, однако то был конфетный стиль, обличавший невысокий вкус редактора-издателя. Тираж журнала

был по тем временам немалый, хотя и значительно уступал знаменитой «Ниве». Еще и теперь иногда можно встретить в букинистических магазинах комплекты, а то и разрозненные номера «Пробуждения». По содержанию журнал был пестрым: тут изредка попадались рассказы и стихи известных писателей, но большей частью он заполнялся виршами третьестепенных стихотворцев, слащавыми рассказами литературных ремесленников.

Журнал нашел своего читателя. Окрыленный материальным успехом, Корецкий предпринял издание еще и детского журнала «Жаворонок», такого же стиля по оформлению и столь же банального по содержанию. В центре Петербурга, на Суворовском проспекте, он выстроил особнячок такого же конфетного вида, как и его журналы. Сам жил на втором этаже, на первом помещались редакции.

Писатель Давид Айзман, человек едкого остроумия, сказал мне однажды:

— Корецкий рассчитал правильно: в России есть слой населения, который еще не имел своего печатного органа.

— Что же это за слой?

— Попадьи. Он сообразил, что в России имеется пятьдесят тысяч попадей. Вот на их вкус он и создал журнал.

Оставляю на совести Айзмана статистику попадей, тираж же журнала он определил, по-видимому, приблизительно правильно.

Помещались в «Пробуждении» и публицистические статьи. В те годы, в начале XX века, откровенно реакционный журнал не мог рассчитывать на внимание большинства читателей. Но на конфликт с цензурой Корецкий тоже не хотел идти. Поэтому публицистика в его журнале имела чуть розоватый цвет, вроде самого слабого раствора марганцовокислого калия.

Корецкий был не только редактором-издателем, но и поэтом. Точнее — стихотворцем. Тут ему сопутствовала куда меньшая удача: свои стихи в основном он сам и издавал. В 1912 году он выпустил маленький (и за то спасибо) сборник стихов, всего в тридцать две странички,— это было юбилейное издание по случаю двадцатипятилетия его литературной деятельности. Впрочем, этот юбилей справедливо прошел не замеченным литературными кругами и читателями. Сборник был дан бесплатным приложением к «Пробуждению». И тут надо отдать должное деловой догадливости Корецкого: тираж сборника — всего полторы тысячи — никак не согласовывался с тиражом журнала. Очевидно, автор-издатель сообразил, что далеко не все подписчики даже такого журнала обрадуются этому подарку.

А вообще с приложениями к журналу дело обстояло прямо-таки загадочно.

Передо мной один из номеров «Пробуждения» за 1913 год. В нем помещено объявление о подписке на 1914 год. Кроме двадцати четырех номеров иллюстрированного журнала, обещано: семьдесят художественных картин, десять альманахов-сборников, три книги сочинений Шопенгауэра, три книги сочинений Вольтера (вряд ли это по зубам попадьям), три книги «Истории искусств», три книги «Истории Французской революции», два тома «смешных рассказов», альбом открытых писем, альбом картин, «два роскошных панно для гостиной», восемь бронзированных портретов писателей и «большая стенная картина в красках». За все — восемь рублей «с доставкой и пересылкой».

В объявлении сказано, что только десять альманахов стоят по рублю, а стенная картина — двадцать рублей, не говоря уже обо всем остальном.

Какие же, выходит, чудовищные убытки нес Корецкий! И какие прибыли он извлекал из этих убытков! Мистика, да и только!

Нужно сказать, что большинство издателей таких еже- и двухнедельников были совершенно разнузданны в своих рекламах. Уже упомянутый «Весь мир», например, рекламировался так: «Ставший за последние годы одним из самых популярных и любимых журналов, широко распространенный не только в России, но и за границей, «Весь мир» дает такое множество беллетристического, художественного, научного и прочего материала, что с ним не может конкурировать ни один еженедельный журнал в России. Более обширной программы нет ни в одном еженедельном журнале».

Издательской ловкости Корецкого не уступала его беспринципность в помещении платных объявлений, что тогда вообще было нередким явлением. Даже большие и вроде бы серьезные газеты, помещая объявления после подписи редактора, как бы снимали с себя ответственность за их содержание, а среди них часто были явно шарлатанские. В «Пробуждении» наряду с рекламами различных торговых фирм сплошь и рядом печатались объявления о сомнительных средствах против сифилиса, гонореи, туберкулеза. Подозрительный журнал «Новости французской медицины», издававшийся почему-то в Петербурге, здесь же предлагал послать желающим бесплатно пять тысяч коробок таблеток, радикально излечивающих триппер. Такое бескорыстие! Профиль мага и чародея с английской фамилией, но с петербургским адресом украшал объявление, в котором этот чародей обещал, тоже совершенно бесплатно, «повлиять на события всей вашей жизни» в будущем, изменить все к лучшему, направить вас туда, где «сияет заря счастья, благосостояния и возможных успехов». Нужно было только сообщить свой адрес, некоторые анкетные сведения и прислать две семикопеечные марки на ответ. А затем вы получали наложенным платежом по высокой цене шарлатанские

брошюры, тираж которых зависел от количества легковерных корреспондентов.

Мне не приходилось лично встречаться с Корецким. Взаимоотношения его издательства с авторами были вполне деловыми. О литературных консультациях в таких редакциях не было и речи. Принятые стихи молодых авторов печатались, оплачивались скудно, но аккуратно, авторские экземпляры журнала высылались незамедлительно (обычай, который не мешало бы заимствовать и некоторым нынешним редакциям).

С именитыми авторами разговор был иной. Им платили по-настоящему, и потому тонкие журналы печатали их изредка, для придания себе престижности. Например, в двадцать втором номере «Пробуждения» за 1915 год был напечатан один из лучших рассказов Куприна — «Гад». В подобных случаях для той же престижности часто делалась сноска: «Перепечатка воспрещается». Нас, рядовых авторов, таким предупреждением не ограждали. Случалось, и перепечатывали, порой указывая, откуда, а иногда и не указывая и, разумеется, не платя.

ГЕНЕТИК В ОПАЛЕ. Б. М. ЗАВАДОВСКИЙ

Оба брата Завадовские (Михаил Михайлович и Борис Михайлович) были известными учеными, академиками ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина). Оба — биологи. И разрабатывали оба весьма близкие темы: внутренняя секреция, гормоны. И были между собою «на ножах». Кто виноват из них, кто прав - судить не мне, для этого надо быть более ориентированным в науке, да и в их личных взаимоотношениях. Видимо, смерть наконец примирила их: на гражданской панихиде по Борису Михайловичу старший брат выступал по-родственному тепло и скорбно.

Не мне оценивать и вклад в науку каждого из них. Судя по объективным данным, Михаил Михайлович более углубленно работал в науке: был лауреатом Государственной премии, в однотомном Советском энциклопедическом словаре упомянут лишь он один.

Борису Михайловичу тоже принадлежит ряд научных трудов. Но, кроме того, он увлекался популяризацией. Его «Очерки внутренней секреции» были одобрены М. Горьким. Знаю это потому, что письмо Горького к нему прочел в архиве писателя: в печати оно мне не встретилось. У меня хранится много популярных книжек Бориса Михайловича, выходивших еще с двадцатых годов; они сыграли немалую роль в приобщении масс к начаткам биологических знаний.

Думаю, приверженность Завадовского к популяризации объясняется в немалой степени живостью, динамичностью его характера. Он всегда стремился донести знания до большого количества людей, его лекции в вузах и публичные были эмоциональны, порой полемичны. Он организовал в Москве Биологический музей

имени К. А. Тимирязева, активно руководил им до тех пор, пока... Но об этом позже.

Меня увлекала тема внутренней секреции. Я задумал написать на этом материале научно-фантастическую повесть и обратился за консультацией к Борису Михайловичу.

Почему именно к нему? Ну, во-первых, потому, что сохранил с ним дружеские отношения еще с тех пор, как, будучи гимназистом, познакомился через посредство Н. А. Рубакина. Да еще потому, что меня привлекала его любовь к популяризации.

Борис Михайлович охотно пошел мне навстречу. Он порекомендовал нужную научную литературу и дал много полезных советов. Мы неоднократно обсуждали еще первый вариант рукописи, и могу сказать, что и в отношении литературном он сделал немало полезных замечаний.

Повесть вышла в 1948 году в издательстве «Детская литература» с пространным послесловием Завадовского, в котором он в доступной форме изложил основные положения эндокринологии.

Именно в том году разразилась завершающая стадия драматической борьбы на фронте советской биологии.

Генетическая наука добилась больших успехов. Во главе наших отечественных генетиков находился величайший ученый Н. И. Вавилов. Рядом с ним трудились и другие крупные ученые. Работы советских генетиков обещали вывести нашу науку на передний край мировых достижений.

Но в дело вмешались могущественные инстанции, чье влияние было непреоборимо. Те инстанции, которые в свое время объявили кибернетику буржуазной лженаукой, опорочили исследования одного из основоположников гелиобиологии А. Н. Чижевского. Они безоговорочно присоединились к учению Т. Д. Лысенко. Вейсманизм-морганизм был объявлен насквозь идеоло-

гическим учением, которое «создает совершенно ложное представление о природных закономерностях».

До знаменитой сессии ВАСХНИЛ исход борьбы был еще неясен. Генетики надеялись, что реакционерам от науки не удастся повернуть ее вспять. В ту пору я часто встречался с Борисом Михайловичем. Однажды, когда я пришел к нему, он, торжествуя, показал мне верстку статьи, которая должна была быть напечатана в очередном номере одного научного журнала. Статья была подписана, кроме него, Юрием Ждановым, занимавшим пост заведующего отделом науки в ЦК КПСС. Полное признание ученых-генетиков казалось Завадовскому несомненным.

Но в своем заключительном слове на сессии ВАСХНИЛ Лысенко объявил, *кем* был одобрен его доклад. Дискуссия кончилась.

Вавилова трагическая судьба постигла раньше. Теперь ВАСХНИЛ возглавил Лысенко. Разделались и с другими. Пришла очередь Завадовского: слишком уж задиристо выступал он на сессии.

Завадовский мне друг, но истина дороже. С огорчением должен признать, что не всегда он был достаточно стоек, не всегда вполне последовательно защищал генетическую науку. Из песни слова не выкинешь. Так, он выступал в печати против крупнейшего советского ученого-биолога Н. К. Кольцова, который в те времена подвергался заушательству.

Но на сессии Завадовский бесстрашно вступил в полемику с Лысенко. Приведу лишь несколько фраз из его речи: «...Я считаю нужным говорить здесь о том, в чем я не согласен с Т. Д. Лысенко... Все инакомыслящие и имеющие смелость не соглашаться с Лысенко огульно заносятся сторонниками Лысенко в одиозную категорию «формальной генетики». Неправильно, товарищи, так огульно критиковать наших менделистов, как это мы слышали здесь не только от докладчика, но и из

других выступлений... Если назвать дарвинизмом то, чему учит тов. Лысенко, то мы вступим в противоречие с собственной совестью ученых и педагогов». Лжеученые, сторонники докладчика, не раз прерывали Завадовского, нервировали его, но он произнес свою речь до конца.

Значит, не перестроился! И последовали выводы. Завадовского лишили кафедры в вузе. Сняли с должности директора тимирязевского музея. Перестали печатать его книги.

Он не без оснований опасался, что может произойти кое-что и значительно худшее: многочисленные примеры были. Но на этом обошлось. Даже где-то стал читать лекции.

Юрия Жданова понизили в должности, отправили в Ростов в качестве ректора университета. Предварительно в газете появилось его покаянное письмо.

В этот период я часто встречался с Борисом Михайловичем и не переставал дивиться его жизнелюбию и бодрости. Несмотря ни на что, он был энергичен и оживлен, хотя порой и задумывался.

Не знаю, возможно, и под влиянием тяжелых переживаний у него обострился диабет, который привел к закупорке вен в ноге. Тромб. Пришлось ногу ампутировать. Он и тут не потерял бодрости. Жене, бывшей при нем в больнице, дал наказ: «Последи-ка за исправностью лифта, а то мне на протезе трудно будет подниматься по лестнице».

Но до протеза дело не дошло. Очень скоро, находясь еще в больнице, он читал в постели газету и внезапно скончался: какой-то маленький тромб дошел до сердца.

Рикошетом пострадал и я. Повесть, зараженная идеями вейсманизма-морганизма, подверглась разгрому во всевозможных органах печати, начиная от «Вечерней Москвы» и кончая специальными журналами «Литература в школе» и «Естествознание в школе». Рецензия

в последнем меня даже позабавила. Рядом с утверждением, что повесть вредна, в ней оказалась и такая фраза: «Два молодых человека, образы которых, несомненно, привлекательно созданы автором...» Господи, да может ли писатель мечтать о чем-либо большем?

После этого меня долго нигде не печатали, никакой работы не давали, а до пенсии я тогда еще не дорос. Ничего, пережил, у нас с голоду не умирают.

Лысенко перестал быть президентом ВАСХНИЛ в 1956 году, а в 1961-м снова стал им, но совсем ненадолго. В Советском энциклопедическом словаре (1980) о нем сказано весьма вежливо: «Ряд положений Лысенко не получил экспериментального подтверждения и производственного применения». Вполне ли из этого ясно, почему не применили?

Когда вспоминаю о тяжких годах лысенковщины, передо мной встает еще одна мучительная картина.

В конце позорно знаменитой сессии ВАСХНИЛ выступили трое ученых, дотоле находившихся в оппозиции к Лысенко. Академики заявили, что за ночь они перестроились, уверовали в правоту Лысенко и каются в своих прегрешениях.

Как в кошмарном сне вижу трех почтенных ученых, дрожащих перед сонмищем негодяев.

А за ними мерещится облик Галилео Галилея, в ужасе стоявшего на коленях перед судом инквизиции...

ВРАЧ-ДИПЛОМАТ

В Москве, на углу улицы Обуха и Подсосенского переулка, стоит старый особняк, с которым тесно связаны мои воспоминания о старом большевике И. П. Калине.

Особняк этот — непростой, хотя с виду не особенно красив. Он пережил немало пертурбаций, но сравнительно недавно был признан архитектурным памятником и отреставрирован. Теперь в нем помещается одно из столичных учреждений.

Дом в свое время принадлежал московскому купцу-старообрядцу Рахманову. Но потом Рахманов построил себе дом в районе Арбата, а этот во время первой империалистической войны отдал под госпиталь.

Рассказываю об особняке подробно потому, что жизнь в нем протекала в условиях, далеко не совпадающих с нынешними.

Приспособление под госпиталь заставило в корне изменить интерьер дома, сильно осложнило реставрацию.

После войн империалистической и гражданской это небольшое здание оказалось в распоряжении Народного комиссариата — по-нынешнему, министерства — здравоохранения. Здесь устроили помещения для нуждавшихся в жилье работников наркомата, а в мезонине, где в свое время помещалась замаскированная снаружи домовая церковь (царское правительство препятствовало старообрядцам в отправлении культа), организовали общежитие для приезжавших в командировки, примитивное по нынешним временам: в большой круглой комнате с куполообразным потолком стояли койки.

В этом-то доме, на втором этаже, в конце коридора получил жилплощадь ответственный работник наркомата врач И. П. Калина. Его жилье по тем временам

могло даже сойти как бы за отдельную квартиру. Площади было достаточно — большая комната в три окна, при ней даже передняя. Но удобства минимальные: водопроводный кран и раковина при нем в передней. Туалет общий, на лестничной клетке. Отопление, как и во всех комнатах особняка, печное, дровяное. При старых хозяевах существовало центральное — воздушное — отопление, но оно уже давно не действовало.

В дальнейшем особняк превратился в общежитие, точнее, в большую коммунальную квартиру. Состав жильцов постепенно менялся по мере того, как улучшалось общее жилищное положение. Тогда это был еще медленный процесс. Но Калина, безусловно, мог бы получить более удобное жилье, однако не помышлял об этом: как коммунист, он считал для себя обязательной личную скромность, да к тому же тогда еще был холост и полагал, что «квартира» его вполне удовлетворяет.

В это время в бывшем общежитии удалось получить площадь семье моих родных, переехавших из Екатеринослава. Приезжая ненадолго из Петрограда, я останавливался у них и познакомился с Игнатием Петровичем.

Он работал в отделе внешних сношений Комиссариата здравоохранения. Работа формально вроде бы и соответствовала его врачебному образованию, но больше, по-видимому, имела дипломатический характер. Несмотря на свое престижное служебное положение, он держался очень скромно. Был он в это время в цветущем возрасте, да и по характеру динамичен, почти всегда оживлен, общителен.

Однажды я неожиданно встретил Игнатия Петровича на улице в Петрограде. Подумал, что он приехал сюда в какую-то командировку, но он удивил меня, сказав, что прибыл на работу, хотя и временную.

— На какую же?

Оказалось, на этот раз гораздо более соответствующую его медицинскому образованию и врачебной специальности — гинеколога: его временно назначили директором Института гинекологии.

Почему директором? Почему временно?

До революции директором института был профессор Отт, он же по совместительству был лейб-акушером государыни императрицы, жены Николая Второго. Можно ли было доверять ему бесконтрольное руководство советским научным учреждением? Да он, наверно, и сам оставил его. Можно ли было полностью доверять руководимым им старым кадрам? Во всяком случае, их следовало тщательно проверить.

В. И. Ленин считал необходимым использовать знания и опыт старых специалистов. Но при этом необходимо было тщательно проверять их лояльность. Конечно, не всех. Многие еще до революции делом доказали свою преданность пролетариату и с чистой душой пришли на работу после революции. Но были и другие.

В то время возник институт комиссаров при учреждениях Советской власти — там, где их возглавляли беспартийные специалисты. Своего рода разновидностью комиссаров были так называемые красные директора. Красный директор из рабочих и партийцев обычно назначался для наблюдения и в помощь специалисту, сам же мог и не быть специалистом. Калина в данном случае удачно сочетал в себе специалиста и партийца.

Я пришел к нему в ясный морозный день. С отоплением в Петрограде было туго, но помещения института отапливались. Когда же я вступил в обширную и пустую квартиру директора (она находилась тут же), меня охватил ледяной холод. Оказалось, Отт не любил центральное отопление. Все шестнадцать комнат его квартиры отапливались голландскими печами. Конечно, вдосталь было и дров, и обслуживающего персонала. Теперь же не было ни того, ни другого.

Пройдя ряд ледяных комнат, я вступил в каморку, ранее, по-видимому, предназначавшуюся для кого-то из прислуги. Здесь и застал Игнатия Петровича. Он сидел на корточках перед «буржуйкой» и кормил ее собственноручно наколотыми дровишками. «Буржуйка» весело урчала и светилась от радости, видимо не подозревая, что скоро ей предстоит мрачно остыть: эти железные малютки тепла долго не держали.

Калина приветливо встретил меня, угостил довольно скудными припасами: никакими особыми магазинами он не пользовался, да и не в моде были они тогда.

А спустя недолгое время я переехал в Москву и пока поселился со своими родными в той самой бывшей церкви.

Вскоре и Калина вернулся в Москву. Теперь он получил новое назначение, уже далекое от его медицинского образования, но в какой-то мере близкое к его прошлой работе: он перешел в Наркомат иностранных дел и был назначен генеральным консулом в Данциг. Теперь это польский город Гданьск, а тогда, по Версальскому мирному договору 1919 года, это был «вольный город под управлением Лиги наций» — своего рода маленькое государство. Так что генеральный консул в нем — это было нечто вроде посла.

Теперь Калина жил в основном там, а в Москве бывал лишь наездами, главным образом во время отпусков. А неважненькое жилье сохранялось за ним по броне.

Я метался по Москве в поисках комнаты: в одной комнате, хоть и большой, пятерым взрослым людям было не очень удобно. Но найти что-либо подходящее было крайне трудно, разве что за большие деньги, какими я не располагал.

И тут мне пришла идея. Я спросил Игнатия Петровича, нельзя ли поселиться в его комнате на время действия брони. Ведь здесь было такое удобство: когда он приезжал бы, я мог перебираться к своим, в мезонин.

Игнатий Петрович охотно пошел мне навстречу — и тут же озаботился: по средствам ли мне будет вносить в домоуправление ту небольшую плату, какая полагалась за площадь и коммунальные услуги?

Не хватало еще, чтобы он и платил за меня. Но у меня был контрвопрос.

— Игнатий Петрович,— сбивчиво начал я,— за такую комнату мне пришлось бы платить съемщику...

Его приветливое лицо вдруг стало жестким, он гневно перебил меня:

— Вы это говорите коммунисту!

В квартире Калины я прожил несколько лет, раз или два мне довелось по его поручению побывать в наркомате, чтобы продлить броню.

Предполагалось назначить Калину полпредом — по-нынешнему, послом — в одну из западных стран. Игнатий Петрович сказал мне, что похлопочет, чтобы его квартиру оставили мне. Жилищное строительство увеличивалось, и он рассчитывал по возвращении в Москву получить настоящую квартиру, так как его семейное положение изменилось. Перед назначением за рубеж он женился, а теперь имел уже двух маленьких детей.

Но вдруг...

Или закономерно...

Непосредственным начальником Калины был заместитель наркома иностранных дел Н. Н. Крестинский, старый революционер, член партии с 1903 года. Далеко не он один из числа работников наркомата был репрессирован.

И Калина тоже.

С тех пор я ничего не мог узнать о нем.

«АНГЕЛ-ХОРОНИТЕЛЬ»

По религиозным представлениям, к каждому человеку приставлен опекающий его ангел-хранитель. Только не знаю, отдельный к каждому или хранителю поручается какая-нибудь группа людей. В первом случае нужен громадный штат ангелов, во втором у каждого из них получается огромная перегрузка.

Работник Литературного фонда Л. Д. Ротницкий относился ко второму случаю: его опеке подлежали все члены Союза писателей. У него были разнообразные обязанности по бытовой помощи писателям, но главная — помогать в организации похорон. Поэтому мы в тесном кругу именовали его между собой так, как сказано в заголовке. Ему этого не говорили: вдруг обидится. Хотя на него не было похоже: он был добрый человек и понимал шутку. А обижать Льва Давыдовича ни в коем случае не хотели: он эту свою обязанность исполнял умело и с большим тактом, избавляя родственников умершего от неизбежных тягостных забот.

Мы уже так привыкли к тому, что он одного за другим хоронит покойников чередующихся писательских поколений, что подсознательно считали его бессмертным, как и подобает ангелу. Но все же он умер, сначала доработав до весьма почтенных лет, а потом, уйдя на пенсию, прожив почти до девяноста. При этом он все время сохранял живость, подвижность. Исправно посещал вечера клуба книголюбов в Центральном Доме литераторов, ходил туда и домой пешком, благо жил недалеко. Садился в первом ряду, потому что в старости потерял большую долю слуха, но кое-как справлялся при помощи слухового аппарата. Впрочем, мне кажется, приходил он не для того, чтобы слушать выступления, а из желания бывать на людях: ему явно не хватало общения. Отрицательная сторона долгожительства —

близкие уходят из жизни раньше. Ротницкий последовательно пережил двух жен, сыновей да, кажется, кого-то из внуков. В конце концов он остался в одиночестве в комнате коммунальной квартиры. А был по натуре очень общителен — как говорят, коммуникабелен. Беседовать с ним было интересно — то было нечто вроде истории литературной организации: он знал многих, живых и ушедших, мог немало рассказать о них, и притом ни о ком ничего дурного, разве только разговор действительно касался плохого человека. Он сам был внимательным, заинтересованным слушателем. Я любил беседовать с ним или наблюдать за ним во время собраний книголюбов, когда он, сидя впереди, напряженно вглядывался и, в меру возможности, вслушивался в выступающих, сияя электрическим светом, отраженным на его совершенно голой голове, и по временам озаряясь одобрительной улыбкой.

В жизни Ротницкого однажды случилось событие, навсегда запомнившееся ему.

В молодости он жил и работал школьным учителем в Туле. Однажды ему удалось организовать массовую экскурсию своих учеников в Ясную Поляну, к Льву Толстому. Детей там ласково приняли, угостили, великий писатель побеседовал с ними. Прием, по летнему времени, происходил в саду перед домом: в самом доме все ребятишки вряд ли поместились бы. Когда настало время прощаться, Лев Николаевич отозвал Ротницкого и сказал, что у него есть несколько десятков экземпляров его книги, которые он хотел бы подарить ребятам. Но так как книг меньше, чем детей, то он просит Ротницкого назвать наиболее достойных подарка. На это Ротницкий возразил, что, по его мнению, не следует дарить никому, так как это было бы непедагогично — внесло бы что-то вроде расслоения между ребятами. Великий писатель и знаменитый педагог тут же согласился с ним, впечатление у детей от посещения осталось

радостным, не замутненным ни завистью одних, ни необоснованным высокомерием других.

Впоследствии, когда дневник Толстого был опубликован, Ротницкий смог прочесть запись, касающуюся того дня. Лев Толстой написал, что учитель дал ему хороший урок педагогики.

Это исполнило Ротницкого заслуженной гордостью, и он нередко устно и печатно вспоминал о том знаменательном для него событии.

Но после его смерти оно послужило поводом для забавного недоразумения: в одном из библиофильских изданий появилось сообщение о том, что букинистическому магазину посчастливилось приобрести книгу, принадлежащую «близкому другу» Льва Толстого Ротницкому. Сомневаюсь, виделся ли Ротницкий еще когда-либо с Толстым,— во всяком случае, он не был ни близким, ни далеким его другом.

Впрочем, это не единственный ляпсус наших библиофильских изданий. В другом из них в статье упоминался «малоизвестный поэт пушкинской поры» Веневитинов. Уж кому-кому, а не библиофилам «малоизвестен» Веневитинов. Но, пожалуй, рекорд побило сообщение, будто в библиотеке покойного ныне ленинградского поэта Всеволода Рождественского имелась книга стихов Мирры Лохвицкой «Перед закатом» с подарочным автографом кому-то. А книга эта — посмертное издание, с некрологом автора.

Особенно близко я встречался с Ротницким в начале войны в Андижане. Туда была эвакуирована небольшая группа московских писателей, попал в Андижан и я, до того как был направлен в армию. Ротницому Литературный фонд поручил заботу об этой группе, и он выполнял это задание с присущими ему доброжелательностью и обстоятельностью. Заботился о снабжении продовольствием, что было нелегко, помогал ликвидировать бытовые неурядицы, устраивал публичные вечера

писателей, выступления в госпиталях. Приходилось ему возвращаться изредка и к похоронным делам: кое-кто из нашей группы и там нашел свой конец.

Незадолго до своей смерти Ротницкий как бы подвел итог своей похоронной работы: составил подробное описание писательских захоронений с указанием их местонахождений — так сказать, некробиблиографию. Это должно помочь Литфонду в заботе о сохранении памяти ушедших.

Еще здравствующие ныне старые писатели помнят Ротницкого не только потому, что ранее были его потенциальными посмертными клиентами, а многие и прижизненными, но и потому, что этот скромный труженик всегда жил их интересами и полноценно выполнял свои деликатные обязанности.

У меня сохранился номер еженедельника Союза писателей РСФСР «Московский литератор» от 8 сентября 1960 года. В нем помещены портрет Ротницкого и приветствие по случаю его семидесятипятилетия, перечислены полученные им поздравительные телеграммы от литературных организаций. На пенсию он ушел еще не скоро.

«НЕДОРЕЗАННЫЙ БУРЖУЙ»

Так, шутя и без всякой ностальгии по безвозвратно ушедшему прошлому, называл себя В. П. Ютанов, с которым я познакомился вскоре по приезде в Москву в середине двадцатых годов.

А ведь и впрямь бывший «буржуй», хотя никто и не пытался его резать.

Отец его был московский купец. Оставил сыну весьма солидное наследство — двести тысяч. Не миллион, но богатство. Пошел бы Владимир Павлович по стопам отца, если б не революция? Не уверен. Смолоду возникли в нем литературные интересы. Он писал рассказы, замахивался на романы. Печатался немного в первые пореволюционные годы. Потом имя его из печати исчезло. Дело в том, что литературу он любил, она же не отвечала ему взаимностью. Попросту говоря, дарования литературного у него не было. Графоман? Это обидное слово, а Ютанов был милейший и доброжелательный человек и в трудные годы немало сделал хорошего своим литературным друзьям. А откуда они взялись?

Он имел возможность целиком отдаться литературным интересам: другой профессии не имел, специального образования не получил — не в моде это было у купечества. Правда, еще в детстве и юности обучали его иностранным языкам, французскому и английскому,— он свободно говорил на них. Но глубокого знания языков не приобрел.

Еще забавная деталь. В молодости он очень хорошо катался на коньках и даже на какой-то период стал чемпионом Москвы, что не так уж удивительно: ведь в то время спорт в России не был массовым. Но уже двадцати лет от роду окончательно расстался со льдом.

— Но почему же? — удивился я, когда он рассказал мне об этом.

— Нельзя было ходить на каток,— пояснил он,— я к тому времени женился.

В купечестве считалось, что женатый — уже человек солидный, негоже ему заниматься таким мальчишеством.

Кроме капитала, Владимир Павлович получил в наследство большой особняк в Москве, неподалеку от Серпуховской заставы. И тем и другим он распорядился разумно.

В доме, в «коммунальной» обстановке, поселился ряд литераторов. Так, например, в мезонине обрел приют Н. С. Ашукин с семьей.

Капиталу Ютанов тоже нашел применение.

Наследственного влечения к торговле у него не было, хотя во времена нэпа это занятие и не возбранялось. Но он стал издавать книги, свои и других авторов,— тогда это было доступно. Иные книги продавались — не очень бойко, но, к счастью, тиражи тогда были ограниченные: три-четыре тысячи считались вполне нормальным тиражом. Иные книги просто раздаривались: например, выходил сборник стихов и прозы разных авторов с пометкой на обложке «б.ц.» (без цены). Наряду с малоизвестными авторами в сборниках можно было встретить и уверенно входящих в литературу, впоследствии занявших в ней прочное место,— Б.Пильняка, Вл. Лидина, того же Ашукина. Только Ашукин, позднее ставший видным литературоведом, тогда выступал как поэт. Свой роман Ютанов выпустил еще в переводе на английский, а потом в сафьяновом переплете (своя рука — владыка). От этого художественные качества книги не повысились.

Справедливая пословица гласит: «Не имей сто рублей, имей сто друзей». Перед Ютановым возник вопрос о заработке: выпуск книг прибыли не давал. Друзья помогли ему поступить на работу в библиотеку Союза писателей.

То был еще старый союз, существовавший до создания федерации писательских организаций, впоследствии преобразованной в нынешний союз. Масштабы тогда были куда скромнее нынешних. Союз целиком, вместе со своей столовой, со своими библиотекой и музеем, занимал одно небольшое здание — дом Герцена на Тверском бульваре. Библиотека находилась в совсем маленьком помещении. В одной комнате находился литературный музей при союзе. Какое-то время им заведовала С. А. Толстая, внучка Л. Н. Толстого, бывшая жена Сергея Есенина.

Владимир Павлович относился к делу любовно и заботливо, внимательно обслуживал писателей. Было приятно себя чувствовать в заполненной книгами комнате, постоянно встречая доброжелательную улыбку Владимира Павловича и его всегдашнюю готовность помочь. И сам он выглядел уютно, по-домашнему, в неизменной бархатной куртке, на которой змеилась цепочка золотых часов — единственной, кажется, ценности, сохранившейся от былого богатства.

Когда я познакомился с Владимиром Павловичем, он был одинок,— очевидно, уже вдов, так как в купеческом быту разводы были не в ходу. Не обремененный семейными заботами, он иногда навещал меня — порой для дружеской беседы, а порой приносил и читал свои новые литературные работы. Я внимательно выслушивал их, но не мог обнаружить в них заметных достоинств. Мне кажется, что творчество — скажем, литературное — состоит, схематично говоря, из трех элементов: *взять* жизненный материал, *преобразовать* его и *выдать* в виде художественных образов. Без таланта тут не обойтись. По-моему, у Ютанова его не было. Это не мешало ему быть симпатичным человеком, хорошим товарищем.

Журналы, издательства не печатали Ютанова. С этим хочешь не хочешь пришлось примириться. Скромный,

нетребовательный, он удовлетворялся зарплатой библиотекаря. На работе чувствовал себя хорошо в товарищеском окружении.

Но обстоятельства менялись. Страна расправляла крылья. Литература развивалась, литературные организации — тоже. Союз писателей, получивший в свое распоряжение два дворца на улице Воровского, шире развертывал свою деятельность. Библиотека приобретала размеры, несравнимые с прежними. У Ютанова не было достаточного образования и политического кругозора для многократно усложнившейся библиотечной работы.

Тут ему помогло знание английского языка. Он стал давать частные уроки. Сначала дело пошло. Но он быстро убедился, что и здесь его знаний недостаточно. Он свободно мог вести беседу по-французски, по-английски, но не владел ни методикой преподавания, ни соответствующим знанием литературы.

Однажды он пришел ко мне смущенный.

— Хочу посоветоваться. Предлагают работу.

— Какую?

Оказывается, он встретил знакомого священника, и тот познакомил его с каким-то влиятельным лицом в патриархии. Там ему предложили работать в отделе внешних сношений переводчиком. Как он выяснил, его знания языков для этого достаточно. Зарплата приличная, да и условия удобные: не надо там много находиться, можно брать работу на дом.

— Что же вас смущает?

— Да ведь время-то какое...

Время действительно было сложное. Но церковь вполне лояльная религиозная организация, функционирующая на законном основании. Так было и тогда. К тому же Ютанову предлагали вовсе не ответственную работу. Но я знал, что он неверующий. Оказалось, что для работодателя это несущественно.

Я знал также, что Владимир Павлович подумывает о семейной жизни. Правда, он начал приближаться к старости. Что ж, лучше поздно...

Мой совет относительно работы был положительный: другого выхода не предвиделось, а этот, хотя бы на первое время, казался подходящим.

Возможно, Ютанов еще с кем-либо советовался. Предложение он принял и работал добросовестно, как всегда.

Через некоторое время после начала войны я сперва уехал в эвакуацию, а затем в армию. Вернувшись с фронта, узнал грустную новость о Ютанове.

Сначала все шло нормально. Он женился на хорошей молодой женщине. У них появился ребенок.

Но однажды Владимира Павловича нашли на улице мертвым, с разбитой головой. Причину выяснить не удалось: то ли он упал и разбился случайно или от сердечного приступа, то ли его сшиб нечестный водитель и, боясь ответственности, скрылся.

СЕМЕН ЛЯНДРЕС

Прочитал я в «Неделе» (1988, № 20) публикацию «Илья Эренбург. Мой друг Николай Бухарин». В этой дотоле не публиковавшейся главе мемуаров Эренбурга встретил упоминание о секретаре Бухарина С. А. Ляндресе. Секретарь Бухарина — и одного этого было достаточно, чтобы войти в разряд «врагов народа». Но за Ляндресом числилась еще одна «непростительная вина»: в свое время он был одним из близких сотрудников Серго Орджоникидзе.

Мог ли бдительный «великий вождь» оставить такого преступника на свободе? Ведь Ляндрес, кроме всего прочего, возможно, был в курсе обстоятельств гибели Серго, не укладывавшихся в официальную версию его смерти.

В свете сказанного можно считать, что с Ляндресом поступили весьма милосердно: его не расстреляли, а отправили в лагерь. И он пробыл там только восемнадцать лет, потому что «великий вождь» неожиданно скончался.

Я познакомился с обаятельнейшим Семеном Александровичем примерно во второй половине шестидесятых годов. У меня в это время шла очередная изнуряющая баталия с издательством, которое то не желало издавать мой научно-фантастический роман, то требовало поступить с ним по методу Прокруста. Так как оба варианта неизбежно приводили к летальному исходу, то я по мере сил упирался. Наконец, полностью обессилев, письменно обратился в Союз писателей с просьбой о помощи, не особенно, правда, надеясь на удовлетворительный результат.

Однако вскоре я получил приглашение к консультанту Союза писателей СССР по издательским делам. Не очень ясно представляя себе, в чем состоят его

функции, зашел все же. Мне трудно определить, почему этот человек произвел на меня впечатление обаятельного, но это впечатление оказалось прочным, точнее — всегдашним.

Чуть печальное и в то же время внимательное выражение темных глаз за очками без оправы. Плотно сжатые губы под небольшими усиками. Гладко зачесанные назад, негустые седоватые волосы.

Так что же? Внимательных глаз у литературных чиновников я насмотрелся достаточно. И участливых голосов тоже наслушался. Как правило, все это повисало в воздухе.

Нет, здесь не повисло. Тем более это удивило меня, что, как оказалось, я был Ляндресу дотоле нисколько не известен. Да, наверно, и не только ему: может ли рассчитывать на известность каждый рядовой член десятитысячного Союза писателей?

Но это вовсе не повлияло на отношение Ляндреса к моей рукописи. Впоследствии я убедился, что ни к одному человеку, приходившему к нему со своими заботами, он не мог относиться с формальным бесстрастием. Это, конечно, нерасчетливо с точки зрения экономии нервно-мозговой энергии, да что поделаешь — такая натура была.

Мне трудно сказать, почему он решил, что моя вещь должна быть напечатана. Но раз уж решил — не отступился. Передал ее на отзыв И. А. Ефремову. А в отношении помощи товарищам-писателям Ефремов неукоснительно следовал традициям Горького. Его отзыв ободрил Ляндреса в борьбе за рукопись. В свое время — конечно, как и полагается, не слишком короткое — книга вышла. Я рад, что ни Ляндресу, ни Ефремову не пришлось краснеть за свои рекомендации.

Получилось так, что деловое знакомство с Ляндресом довольно скоро перешло в личную дружбу. Закрепляя ее, два убежденных антиалкоголика выпили по пятьде-

сят граммов коньяка у стойки верхнего буфета Дома литераторов.

Семен Александрович по натуре был человек веселый. А под весельем — неизменно грустная подкладка: оснований для грусти ведь было достаточно — сколько пережито! И не только морально. Вот сидит он в кресле, обычно откинувшись на спинку, вполоборота, изредка морщась от боли. Выяснилось: во время следствия оказался не очень покладистым, в порядке перевоспитания ему сломали два позвонка.

Приблизившись к человеку, Ляндрес старался привлечь его к возможно более активной работе — сам-то он был многообразно активен. Увидав во мне книголюба, привлек вместе еще с несколькими писателями к организации клуба книголюбов при Доме литераторов. Узнав о такой его инициативе, некий заслуженный писатель сказал: «Вот и еще одна нежизнеспособная затея». Товарища этого, к огорчению, давно нет в живых, а клуб книголюбов, вопреки его пессимизму, живет и развивается.

Привлек Ляндрес меня к сотрудничеству в журнале «Вопросы литературы», где был вполне действующим членом редколлегии, в отличие от иных изданий, имеющих немалые, но фактически не работающие редколлегии. Ну, правда, «к сотрудничеству» — это я слишком громко сказал: за тот до боли короткий промежуток времени, что наши жизненные пути шли рядом, я успел там опубликовать всего две рецензии на книги. А вообще-то этот журнал оказался для меня слишком серьезным, академичным.

Ляндрес и в это время, после всего тягостно пережитого, был бурно деятелен. А каким был прежде? Некоторое представление об этом дает глава его воспоминаний об Орджоникидзе. Он прочел ее в Доме литераторов на вечере, посвященном памяти Серго, 28 февраля 1967 года. Из нее видно, какие сложные поручения умел он

выполнять. Могу засвидетельствовать: читал он не хуже любого мастера художественного слова.

Юмор его, несмотря ни на что, был неистребим. Получив квартиру в новом доме, что в шестидесятых годах было еще далеко не частым явлением, пригласил: «Приходите ко мне на новую хазу».

Со своей активностью Ляндрес мог бы, безусловно, прожить дольше, но все, что с ним проделали прежде, помогло сократить его жизнь. Умер он после тяжелой болезни с достоинством и выдержкой старого большевика.

После смерти Семена Александровича его вдова Г. В. Архангельская сделала мне три подарка.

Первый — очень хороший портрет Семена Александровича. Он смотрит со стены моей комнаты. Так похож, что хочется обратиться к нему.

Второй подарок — «Рассказы об Орджоникидзе. Сборник воспоминаний» (М., «Детская литература», 1968). Здесь среди воспоминаний других авторов те, которые Семен Александрович читал на вечере в Доме литераторов. Перечитывая их, не могу отделаться от иллюзии, будто слушаю пленку с его голосом. А зачем, собственно, отделываться?

И — маленькая реликвия: картонная коробочка с перьевой авторучкой и карандашом. И ручка, и карандаш выглядят нарядно, но давно уже сломаны. Но от этого коробочка и останки письменного прибора не потеряли для меня своей ценности. Сбоку на коробочке дарительница написала: «Подарила Леночка Булгакова в больницу 25/V 68 года». А на донышке: «Дорогому Абраму Рувимовичу, передаю с глубоким уважением наборчик, которому так радовался Семен. Не держите в коробочке как музейную реликвию — пишите. Ваша Гал. Влад. 11/XI 73 г.».

Я писал. Теперь это только реликвия. И она мне говорит о том, что Ляндрес, по-видимому, имел отноше-

ние к первой публикации «Мастера и Маргариты». Почему он мне не говорил об этом? По скромности? Или не успел? Но вспоминаю, что он первый сказал мне о готовящейся публикации. А я по невежеству (стыдно признаться, но как скрыть?) и не знал тогда, что́ это такое. Потом уж узнал, что Ляндрес очень живо интересовался «Мастером» и его автором.

Держу в руках ежегодник «Контекст» (М., «Наука», 1978). Здесь помещена интереснейшая работа И. Ф. Бэлзы «Генеалогия «Мастера и Маргариты». Исследователь неоднократно ссылается на статью С. Ляндреса «Русский писатель не может жить без Родины», опубликованную в «Вопросах литературы» (1966, № 9).

Имени Ляндреса подобает стоять в памяти рядом с сияющим именем Булгакова.

АШУКИНЫ

В доме В. П. Ютанова в числе литераторов нашли приют Ашукины — Николай Сергеевич и Мария Григорьевна, муж и жена, оба литературоведы. Николай Сергеевич более известен, у Марии Григорьевны отдельных книг вроде не было, но как составителя ее, наверно, знают многие: они вдвоем с Николаем Сергеевичем составили весьма популярную и не раз переиздававшуюся книгу «Крылатые слова». Среди моих домашних реликвий — подаренное «издание третье, исправленное и дополненное» (М., «Художественная литература», 1961). Дорожу и книгой, и дружественной надписью обоих на ней, а сам этот солидный том мог бы гордиться, как боевыми ранами, несколько потрепанным видом, потому что не праздно стоит на полке, а то и дело служит справочником как своего рода энциклопедия. Непростая это была задача — составить такой справочник: не только объяснение каждого крылатого выражения дано, но также история его происхождения с указанием источников, часто многочисленных и иноязычных.

Мария Григорьевна иногда подписывалась своей девичьей фамилией — Зенгер. Отец ее был известным латинистом, до революции четыре года занимал должность министра просвещения. Но его убеждения оказались слишком прогрессивными для Николая Второго, и ему пришлось уйти в отставку со значительным для себя материальным уроном. Об этом рассказала мне Мария Григорьевна.

Той же фамилией временами подписывалась сестра Марии Григорьевны, Татьяна Григорьевна, исследовательница рисунков Пушкина. Подписывалась она также своей фамилией по мужу, М. А. Цявловскому, весьма известному пушкинисту.

Когда Союз писателей заселял наш дом на проспекте

Вернадского, пришло и для Ашукиных время перебраться из ютановской мансарды в отдельную квартиру. Казалось бы, только и радоваться. Но нет, не обошлось без огорчения.

Конечно, мансарда не самое удобное жилье. Спускаться и подниматься по каждому поводу, в том числе ради любого телефонного разговора, трудно. А книг в библиотеке Ашукиных было около девяти тысяч томов. Много? А как иначе литературоведам работать? В Ленинскую библиотеку по каждой встретившейся надобности ездить, иной раз из-за какой-либо мелкой справки? И возраст чем дальше, тем больше ограничивает в передвижениях. Книгам дома должно быть просторно — так, чтобы любую вовремя снять с ее постоянного места.

Вот в отдельной квартире, думалось, все можно будет разместить как следует. Ради этого можно мириться с тем, что новое жилье не идеальное. Ашукины получили двухкомнатную квартиру, но всего в тридцать квадратных метров. Первый этаж — они сами просили: лестница была трудна для больных ног Марии Григорьевны. Но зато темновато: деревья заслоняют дневной свет — и шумновато: ребята кричат под окнами. Нет мусоропровода — мусор надо носить довольно далеко, притом в любую погоду. Но главное — все книги разместить не удастся.

И пошел Николай Сергеевич к писательнице-общественнице, ведавшей распределением жилья. Попытался осведомиться, нельзя ли выделить где-нибудь жилье попросторнее, не для комфорта — для книг.

Ответ привел его в шоковое состояние. Ему было сказано: «Мы не можем считаться со всеми увлечениями; мало ли кто что собирает: один — этикетки от спичечных коробков, другой — книги, третий — еще что-либо...» Услышав такое, Ашукин до того растерялся, что даже не догадался ответить, что этикетки занимают несопоставимо мало места по сравнению с книгами. И тем

более не сообразил объяснить писательнице, в чем именно состоит работа литературоведа.

Пришлось библиотеку урезать наполовину: около четырех или пяти тысяч книг отправились к букинистам.

Немало интересного и редкого все же осталось у Ашукиных. Помню, с каким вниманием я просматривал книгу, запрещенную царской цензурой. А были то тексты выступлений самого Николая Второго. Как же и почему цензура подняла на нее руку? Оказывается, вполне обоснованно — чтобы не конфузить августейшего автора: собранные вместе, его высказывания на разных встречах, приемах и тому подобном производят удручающее впечатление полным отсутствием мысли, тупой трафаретностью выражений.

Ну, это между прочим.

И все-таки после коммуналки, пусть и писательской, Ашукины вздохнули свободно. Поэтому даже неудобства новой застройки переносились легче — и несусветная глинистая грязь, и толкотня грузовиков, бульдозеров, и отсутствие станции метро, магазинов, телефонов, даже уличного освещения. Потом-то это наладилось, не сразу.

Ашукины были уже немолоды. Николай Сергеевич с его некрупной фигурой, бородкой клинышком, небыстрыми движениями и речью на первый взгляд производил впечатление замкнутого ученого, а на самом деле был живым, энергичным, предприимчивым. Он занимался не только литературоведческими изысканиями, но и организационной, редакторской работой, много внимания и труда уделял подготовке выпуска собрания произведений Брюсова.

В одном отношении он и сам уподоблялся Брюсову — не замыкался в рамках одного литературного жанра. В молодости, как и многие литераторы, писал стихи, выпустил несколько стихотворных сборников. Правда, они не сделали эпоху в поэзии. Значительно плодотворнее была его деятельность как литературоведа, редактора,

комментатора и популяризатора литературоведения. Мне как-то посчастливилось приобрести в букинистическом магазине небольшую его книжку «Литературная мозаика», изданную Московским товариществом писателей, очевидно, в тридцатых годах. (Точный год издания не указан — наверно, для того, чтобы книга, если залежится на прилавке, не утратила значения новинки; это при тираже в четыре тысячи триста экземпляров — любопытная примета времени!) Эта небольшая книжка, на мой взгляд, удачный пример популяризации литературоведения: Ашукин очень живо и доходчиво рассказывает не только о результатах расследований других литературоведов, но также и о своих собственных архивных находках, особенно касающихся жизни и творчества Некрасова и Брюсова.

Мария Григорьевна не могла бы похвастаться таким умением разговаривать с массовым, неподготовленным читателем. Ее работы носят как бы более академический характер. Вот у меня хранится подаренный ею отдельный оттиск специального издания «Современная русская лексикография» (1976). Статья Марии Григорьевны «Навстречу новому академическому словарю» трактует актуальные вопросы подготовки словаря.

Похоже, что интересы обоих литературоведов — а Мария Григорьевна была еще и лингвистом — дополняли друг друга. И уж, во всяком случае, они отлично уживались.

Оба они в разное время скончались в нашем доме: Николай Сергеевич — в 1972 году, Мария Григорьевна — восемью годами позже.

ИСТОРИК-БЕЛЛЕТРИСТ. НИКОЛАЙ ЗАДОНСКИЙ

От времени до времени снимаю с полки и в который уже раз просматриваю солидный, около шестисот пятидесяти страниц, том: Н. Задонский. Денис Давыдов. Историческая хроника («Молодая гвардия», 1958). И сейчас, спустя более тридцати лет, издательства не часто радуют таким оформлением: ледериновый переплет с изящным тиснением, многообразие иллюстраций, воспроизводящих облик героя, обстановку его жизни и ратной деятельности, обилие примечаний, раскрывающих весьма важный этап творчества автора — работу над архивными и другими документальными материалами. На шмуцтитуле он написал: «А. Р. Палею на добрую память о соседстве в Малеевке от автора. Ник. Задонский. 30.IX.58».

Не знаю, как вы, а я, читая книгу лично мне знакомого автора, как бы слушаю его и даже вижу: передо мной возникает словно бы неясный оттиск его внешности, словно слышу его голос со своим специфическим тембром, с индивидуальными интонациями — как на полустертой пластинке в проигрывателе...

Дом творчества Союза писателей имени А. С. Серафимовича (Малеевка) выглядел в то время скромнее, чем нынче, но все же был достаточно комфортабелен, работать можно было без помех. Днем общие помещения были малолюдны. Вечерами нередко собирались группами. Наиболее заинтересованные группы собирались около Задонского.

В то время он был уже немолод — приближался к шестидесяти. Прямая, в меру дородная (когда-то говорили — представительная) фигура, звучный, хорошо поставленный голос, уверенная, стройная речь, выразительная жестикуляция — это все от его недавнего сце-

нического прошлого. Но главное — его интересно было слушать: у него был не только богатый жизненный опыт, но и любопытнейшие сведения из минувшего, почерпнутые из архивов, над которыми он много работал. Часто эти сведения не соприкасались с тематикой его работ, были случайны, как причудливая раковина, забредшая в сеть рыболова, но оказывались сами по себе интересными, порой забавными. К тому же рассказчик Задонский был увлекательный.

Он был уже автором внушительного количества книг. Некоторые из них — театральные пьесы. Основная его тематика — история нашей Родины, самый любимый жанр — историческая хроника.

Термин «беллетристика» звучит сейчас несколько пренебрежительно. Но если вернуть ему первоначальное значение, то в буквальном переводе с французского это будет «художественное литературное произведение (в прозе)». Хроники Задонского — документированная беллетристика.

До каких пределов допустим авторский вымысел в художественном историческом произведении? Этот вопрос дискутируется не мемуаристами, а литературоведами. Но позвольте привести хотя бы один пример. На странице 441 «Дениса Давыдова» помещен воспроизведенный автором разговор героя с генералом Ермоловым о тайном антимонархическом обществе. А 47-е примечание документально доказывает: да, эти слова или, может быть, иные, но точно с таким же смыслом, могли быть сказаны.

Примечания читаются с не меньшим интересом, чем основной текст.

Задонский изображает людей стереоскопически. Глубоко уважая своего основного героя, все же показывает его как сына своего класса и времени. Восхищаясь его подвигами и поэтическими произведениями, напоминает: «Привыкнув с детства считать незыблемым кре-

постной уклад жизни, Денис и не думал о том, что именно этот уклад порождает ужасную нищету и бесправие крестьянства. Вся беда, по его мнению, заключалась лишь в том, что бурмистр злоупотреблял предоставленными ему правами».

Писатель не склонен затушевывать даже мелкие грешки своего героя. Ну, казалось бы, уж так богата жизнь Давыдова приключениями, характеризующими его прославленную безграничную храбрость! Так нет же, он и прихвастнуть не прочь: «Многое по привычке для красного словца прибавляя, Денис рассказывал, при каких обстоятельствах пять лет назад морозным январским днем повстречался он со Степаном на Морунгенской дороге».

Рассказано в книге о Давыдове не только как о прославленном воине, но и как о поэте весьма незаурядном — без этого образ его был бы, конечно, неполон. Заслуга Задонского, между прочим, и в том, что он напомнил читателям о поэзии Давыдова: ведь тому выпало быть современником Пушкина, а в лучах солнца русской поэзии меркнут звезды и первой величины.

Книга эта хорошо выдержала испытание временем: переиздавалась не раз до последних лет (Куйбышев, кн. изд-во, 1988, 150 000 экз.).

Вернусь ненадолго к ее автору. Он был большим патриотом своего Воронежа. Уверял даже, что в реке Воронеже водится какая-то особая рыбка, необычайно вкусная (к сожалению, я напрочь забыл ее название).

А вообще-то Воронеж, как известно, город с богатыми литературными традициями, и ныне не скудеют в нем хорошие писательские имена. Задонский по праву в их числе. Жаль, что прожил он, как мне теперь кажется, недостаточно — семьдесят один год. Это был человек,

> Кому бы мог пожать от сердца руку
> И пожелать веселых много лет.

ДВАЖДЫ ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА.
А. П. СЫТИН

Известный критик В. П. Полонский (Гусин) редактировал одновременно три журнала: толстые — «Новый мир» и «Печать и революция» — и тонкий — «Красная нива». В двух первых печаталось много рецензий, особенно в «Печати и революции». В отношении рецензирования у редактора была такая тактика. Он подобрал более или менее твердый состав критиков, которым в основном поручалось писать рецензии. Делалось это так. У издательств было в обычае рассылать по экземпляру выходивших книг в редакции журналов. Вячеслав Павлович надписывал на каждой книге, кому поручается ее рецензировать. В соответствии с этими наметками их и раздавал его помощник — критик Як. Черняк. Гонорары за рецензии были слабенькие, зато рецензенты получали эти книги в собственность. Кое-какие книги с той поры сохранились и у меня.

Я попал в состав рецензентов в 1926 году, а в 1927-м мне было поручено написать отзыв о книге рассказов молодого писателя Александра Сытина «Брат идола». Книга произвела отрадное впечатление. Она была написана свежо, увлекательно. В том же году мне пришлось прорецензировать в «Печати и революции» другую книгу того же автора — «Стада Аллаха». Отметив некоторые слабые места, я все же нашел, что и эта книга заслуживает одобрительного отзыва. Появились в печати и другие положительные характеристики творчества Сытина. Стало ясно, что в советскую литературу пришел новый одаренный писатель.

А судьба у этого моего сверстника выдалась очень непростая. Гражданская война заняла в ней весьма существенное место. Был красноармейцем, воевал с бухарским эмиром. Что нужно писателю? Чтобы было *о чем*

писать, и *уметь* писать. А умение писателя, конечно, включает в себя наблюдательность и изобразительный дар. Тем и другим он владел. А о чем писать — это дала ему сама жизнь.

Сытин приехал в Москву еще достаточно молодым — тридцатилетним, энергичным, полным надежд. Таким я увидел его, когда меня познакомили с ним друзья по литературе. Впервые мы встретились у него дома. Тогда еще редкие писатели имели отдельные квартиры. Но его коммунальное жилье было сравнительно удобным. Оно помещалось недалеко от центра Москвы, на Тверском бульваре, в надстроенном, как тогда нередко практиковалось, доме, вблизи Камерного театра и Дома Герцена, где сейчас находится Литературный институт.

Сытин произвел на меня двойственное впечатление. Чувствовался одаренный человек, остро заинтересованный во всем, что творится вокруг, да и не только вокруг, живой, стремительный, порой неожиданно меткий в разговоре. Но вот беседовать с ним было нелегко: трудно было уследить за его скачущей, прерывистой, парадоксальной речью. Порой он был неожиданно противоречив, иногда резок. Нервный тик, случалось, как зигзаг молнии, прорезал его лицо. Сознаюсь, беседы с ним иногда бывали утомительны, но привлекательны. Ему было о чем порассказать, чем поделиться.

Конечно, было и чем наполнить книги. Активное участие в гражданской войне дало Сытину богатый материал. Работы его сразу встретили хороший прием. Их охотно печатали толстые журналы, да, конечно, и приключенческие — «Всемирный следопыт», «Вокруг света», альманахи приключений. Довольно часто (а по сравнению с тем, как обычно происходит теперь, и неправдоподобно часто) выходили и его книги — романы «Пастух племен», «Контрабандисты», «Брат идола», сборник рассказов о гражданской войне.

Он был женат на женщине красивой, но тоже крайне нервной, почти истеричной. Бросалось в глаза, что их семейная жизнь проходила неровно, пароксизмами. Как я замечал, такие нескладицы особенно часто происходят в бездетных семьях. Если взять сравнение из нынешних дней, то была неустойчивая ядерная система — вот-вот произойдет взрыв. Так и случилось, но позже. А тогда...

В начале тридцатых годов Александра Павловича арестовали.

Чем же провинился храбрый командир революционной армии, талантливый писатель, чьи книги пользовались заслуженным успехом у читателей? Наивный вопрос. Да ничем. То, что распустилось пышным цветом в тридцать седьмом году, уже тогда набирало силу.

Я сказал, что Сытин был талантливым писателем. М. Горький, неизменно приветствовавший все свежее, что входило в нашу литературу, весьма одобрительно отозвался о его произведениях. А он исчез с горизонта читателей. Заодно и его жена. И мы, его друзья, тоже надолго потеряли его из виду.

Прошло около тридцати лет. Многие ушли из жизни, но Александр Павлович, оказывается, уцелел, и друзья стали получать от него письма из Зугдиди. В частности, мне он писал: «Я не один. Я женат. У меня жена бесхитростная украиночка, которая прекрасно готовит. Неграмотная. С Варв. А. развелся давно. С этой мы женаты 15 лет. Что еще? Знаете ли что, черт возьми, еще? Я Вам скажу. 18 лет я проработал маляром и стекольщиком и видел такой пестрый конгломерат страстей и интересов, что пробую писать «строительные» рассказы. Т. е. строительство, конечно, только фон, но зато люди от самых ничтожных и до Ивана Великого по росту. Конечно, как всегда, вопрос во мне. Здоровье пока есть, дальше не знаю. (Собственно, очень хорошо, конечно, знаю, но пока, кажется, это будет не так скоро.)

Во всяком случае, я сейчас на пенсии, т. е. на положе-

нии расседланной лошадки, и пасусь где мне заблагорассудится.

Почему я один? Потому, что я без моей мечты, без литературы и без друзей».

Из этого письма, взбудораженного, скачущего, я понял, что Сытин возбужден, стремится вернуться к литературе. Как ни стало грустно, я возрадовался.

Да, мы почувствовали, что, несмотря на все перенесенные невзгоды, он не сломлен, что надо всячески помочь ему включиться в литературный процесс. Да вот еще беда! Союз писателей был оформлен уже после его ареста, а до того существовал Организационный комитет. Надо было хлопотать не о восстановлении Сытина в союзе, а о приеме. По своему тогдашнему местожительству он мог вступить в Союз писателей Грузинской ССР, а не РСФСР. Наши хлопоты в Москве по этой причине застопорились, а тем временем грузинские товарищи разобрались, и Сытин стал полноправным членом союза. Его начали печатать в периодике, а в 1962 году вышел новым изданием роман «Пастух племен» (Тбилиси, изд-во Союза писателей Грузии «Заря Востока»). Стали выходить и другие книги Сытина.

Но тут произошла вторая и окончательная трагедия.

В феврале 1977 года я получил письмо от одного писателя из Тбилиси, который, упоминая о трагической смерти Александра Павловича, просил сообщить некоторые сведения для комиссии по его литературному наследию.

Глубоко потрясенный, я сообщил что мог и спросил, что же случилось с Александром Павловичем, как и когда он погиб.

Ответ потряс еще более. Вот что я прочел:

«За два года до смерти Александра Павловича умерла его жена. Он жил один и уже отказывался от прежней своей мысли о переезде в Тбилиси. За ним присматривала навещавшая его ежедневно племянница жены. В ночь

на 18 августа 1974 года он был убит злоумышленниками, проникшими в его квартиру по пожарной лестнице, приставленной к окну второго этажа. Следствие еще не закончено.

Все основные произведения Александра Павловича были переизданы в течение последних десяти лет его жизни, но, к сожалению, не попали в поле зрения литературной критики».

Однако это письмо было получено в марте 1977 года. Значит, через три года после убийства следствие все еще не было закончено. Почему же?

О своем недоумении я немедленно написал информировавшему меня товарищу. Но ответа на сей раз не получил...

«Не попали в поле зрения...» Тем более я счел себя обязанным написать о Сытине.

Последнее издание романа «Пастух племен» стоит в моем шкафу с надписью: «Дорогому товарищу молодости... на всегдашнюю память. А. Сытин. 17.IX.62. Зугдиди. Ингурбумкомбинат».

ЧЕТА СПАСШИХСЯ.
Е. Г. ЛУНДБЕРГ И Е. Д. ГОГОБЕРИДЗЕ

В объединении авторов научно-художественной литературы при издательстве «Молодая гвардия», о котором уже не раз упоминалось, я познакомился и с Е. Г. Лундбергом. Знакомство оказалось длительным. Евгению Германовичу в то время было за сорок. Выглядел он моложе, был подвижен, энергичен, с широким кругом интересов — этим, наверно, можно объяснить разножанровость его творчества.

Много позже в справочнике «Советские детские писатели» (Детгиз, 1961) я познакомился с подробностями его биографии. Оказывается, он был правнуком знаменитого русского мореплавателя И. Ф. Крузенштерна. (Он об этом никогда не упоминал — не был гусем, хваставшим предками — спасителями Рима.) С молодых лет работал журналистом. Был основательно связан с революционными кругами: «неоднократно подвергался аресту», сообщает справочник. Однако не о всех его арестах знали составители: еще один был впереди.

Меня влек к Лундбергу его живой, деятельный характер, его беседы, полные бодрости, жизнерадостности, оптимизма. Сближали общие литературные интересы и даже бытовые: оба мы долго переживали жилищные неурядицы, ждали помощи от Союза писателей. Жилищные неудобства особенно обострились в пятидесятых годах. Я неоднократно бывал у Евгения Германовича и его жены в их коммунальном жилище в районе московской улицы Алексея Толстого. У них была одна комната, довольно просторная для людей, которые работают не у себя дома. Но квартира писателя, как известно, не только его жилище, но и мастерская, и библиотека, и архив. Так что, конечно, было тесно. И темновата была комната, и шумновата коммунальная квартира. До серьезного решения жилищного вопроса было еще далеко.

Много работал Лундберг в периодике как критик. Его остро интересовали вопросы философии, он уделял серьезное внимание модной в дореволюционное время философии Мережковского и Гиппиус и проникнутой этой философией их лирике. Помимо статей в журналах им написана монография о Мережковском (1914).

Но уже в начале своего литературного пути он работал также в области художественной литературы, в 1909 году выпустил книгу рассказов.

У меня имеются три книги Лундберга, отражающие основные этапы его творчества.

Повесть «Кремень и кость» (М.— Л., «Молодая гвардия», 1931) — детская и по форме научно-фантастическая. Однако, положа руку на сердце, не могу сказать, что по своим художественным достоинствам она принадлежит к числу вершинных произведений этого жанра. Нет в ней запоминающихся образов людей. Да и кто сумел бы создать такие образы на подобном материале — общества каменного века? Назначение этой работы иное — беллетризованная научно-познавательная книга. А тут автор на высоте. Хороший, ясный язык и скрупулезно точные фактические сведения, основанные на научных данных. Недаром во вступлении автор благодарит целый ряд ученых, консультировавших его. «Особенную же благодарность приношу проф. В. Г. Тану-Богоразу, чьей острой критикой я руководился в продолжение всей почти работы».

Мемуары «Записки писателя, 1917—1920» (Изд-во писателей в Ленинграде, 1930) автор снабдил предисловием, где говорится: «Это не политический дневник, но дневник писателя, желавшего понять, чтó происходит на родной земле».

Мне нечего добавить к этой характеристике книги, в которой автор, проведший три сложнейших и страшных года на юге бывшей Российской империи, отрывисто и

взволнованно рассказывает о пережитом им и многими другими.

Душевно дорожу третьей книгой: «Сулхан-Саба Орбелиани. Мудрость вымысла» (Тбилиси, изд-во Союза писателей Грузии «Заря Востока», 1930). Главный труд знаменитого писателя, ученого, политического деятеля предваряется основательной литературоведческой работой о его жизни и творчестве, написанной академиком Г. Н. Леонидзе. Книга богато иллюстрирована народным художником Грузии Ладо Гугиашвили. Но самое ценное в ней для меня — дарственный автограф: «...притчи этого большого мастера стиля и тонкого мыслителя — на добрую память. Е. Лундберг. 30/XI.69». Перевела с грузинского Елена Гогоберидзе под редакцией Г. Н. Леонидзе и Е. Г. Лундберга.

Вот и приспело время расшифровать заглавие этого очерка, а кстати рассказать и о жене Евгения Германовича.

Меня не столько удивило — «бытовое» же тогда явление,— сколько глубоко огорчило известие об аресте Евгения Германовича. Во времена ежовщины, бериевщины, а в общем, сталинщины чему же было удивляться? Дмитрий Стонов однажды спросил меня: «Вот тех-то и тех писателей арестовали, а мы с вами на свободе. Как вы думаете, почему? Чем мы лучше их?» И сам же ответил: «Просто до нас руки еще не дошли».

До него руки дошли позже, а до меня — еще спустя время.

Но как же я был удивлен и обрадован, когда сравнительно скоро встретил Лундберга целым и невредимым на улице Герцена, вблизи Дома литераторов, и он поведал мне не совсем обыкновенную историю!

Он часто и подолгу бывал в Грузии, на родине жены. И занялся там весьма небезопасным делом — расследованием обстоятельств гибели выдающегося революционера Камо. Ему удалось выяснить, что к автомобильной

аварии, которая погубила Камо, имел непосредственное отношение Берия.

Не такой был человек Лундберг, чтобы выдумать подобное.

Камо погиб в 1922 году. Выходит, Берия занимался такими делами до того, как получил широкомасштабное поле деятельности.

Но ведь Лундберг был арестован уже тогда, когда возможности Берии были неограниченны. Как же палач выпустил добычу из рук?

Ну, тут я могу только гадать. Может быть, Берия не хотел фиксировать на этом деле общее внимание? Да нет, вряд ли: не такие дела открыто проворачивал. Впрочем, не стоит пытаться решать уравнение со всеми неизвестными. Может быть, когда-нибудь и эта тайна откроется...

Жена Евгения Германовича была сестрой известного революционера, крупного государственного и партийного деятеля Левана Гогоберидзе, расстрелянного в незабываемом тридцать седьмом году. Она рассказала мне, что ее вызывали в некую высокую инстанцию.

Елена Давыдовна была высокоинтеллигентной, в полном смысле слова культурной женщиной. Кажется, до того как заняться литературной работой, она была незаурядной актрисой. Грузинское гостеприимство, интеллигентскую мягкость она сочетала с боевым характером и уж никогда в нужных случаях за словом в карман не лезла. Может быть, это и помогло ей сориентироваться в сложных обстоятельствах?

— Почему вы не сообщили, что ваш брат оказался врагом народа? — грозно спросил ее важный руководитель.

— А вы что, не читаете газет? — возразила она.

Руководитель, привыкший к страху и повиновению, от неожиданности растерялся:

— Ну, читаю. Так что же?

— А то, что все газеты оповестили, что Леван Гого-

беридзе арестован как враг народа. Зачем же мне надо было сообщать вам об этом отдельно?

Как ни странно, ей удалось выскользнуть из лап настоящих врагов народа.

Евгений Германович скончался естественной смертью в 1965 году.

Квартира, и очень хорошая, в конце концов была получена — вблизи улицы Фучика, недалеко от чехословацкого посольства. Но, оставшись одна, Елена Давыдовна переехала к родным на Кавказ, где также через несколько лет умерла.

ИРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ. МАРК ТАРЛОВСКИЙ

«Иронический сад» — точно озаглавил поэт свой сборник, выпущенный издательством «Земля и фабрика» в 1928 году в созвучно оформленной обложке художников Л. Вороновой и М. Евстафьева. Поэт, а не просто стихотворец. Стихи носят отчетливый индивидуальный отпечаток, а ирония — неотъемлемый оттенок этого отпечатка. И автор удачный дал эпиграф — цитату из самого себя, словно ключ ко всей книге:

Внемлет певцу иронический сад,
В пышных руладах солист утопает.
Роза кивает ему невпопад,
Ибо в гармонии не понимает.

Вскоре после выхода этой книжки меня познакомил с ее автором мой брат, который вместе с ним учился. Поэт был совсем еще молод, но была в нем не согласующаяся с возрастом некоторая замедленность, как бы осторожность движений, жестов, речи. Скорее всего это происходило от состояния его здоровья: он страдал врожденным пороком сердца. С обидой думаю, что ведь теперь, возможно, такие заболевания лечат хирурги,— в те времена о подобном слыхом не слыхали.

Впрочем, не стоит так уж убежденно утверждать: может быть, такая медлительность, обдумывание каждой фразы, старание выразиться как можно точнее и логичнее вообще были чертами характера Тарловского? Ну да, а характер от чего? Так ли, иначе ль, мне все казалось, что во время беседы в нем происходит непрерывный — творческий, что ли? — процесс. Нет, еще не создание поэтических произведений, а переработка воспринимаемых впечатлений, информации. Вслушиваясь в слова собеседника, он как бы сразу отыскивал услышанному место в цепи ассоциаций. Так в наших беседах о

текущих событиях, о положении в литературе, в частности в поэзии, которыми мы оба равно интересовались, проявлялась четко выраженная внешняя двойственность: я, хоть и был старше его, говорил быстро, резко, запальчиво, порой выдавая непродуманные суждения,— он возражал весомо и почти всегда убедительно. Но, вероятно, в конце концов часто обнаруживалась некая равнодействующая, иначе к чему бы он написал на книге: «...в знак многостороннего взаимного понимания»?

Я был очень удивлен, когда Марк Аркадьевич сказал мне, что в составе группы литераторов отправляется в длительную командировку «в Бухару»: под таким собирательным названием разумелись среднеазиатские республики СССР. По моим тогдашним представлениям, это равнялось отправлению в какие-то экзотические края, было чем-то вроде путешествий Миклухо-Маклая. Насколько тамошний уклад отличался от российского, я смог убедиться даже значительно позже, когда в 1941 году попал в Узбекистан. Увидел женщин в чадрах в центре Андижана, не говоря уже о районной глубинке. Увидел такие же (чуть не сказал — те же самые) огромные вертикальные колеса, какие применялись тысячи лет назад,— тягуче вращались они, черпая воду для орошения из могучего канала, подвешенные к ним сосуды потом оказывались на вершине колес, опрокидывались, выливая влагу в желоба, и вновь опускались до следующего погружения. Глубокой древностью дохнуло даже тогда.

А не надо было мне удивляться решению Марка Аркадьевича. Внешняя заторможенность была у него формой, а существом натуры — жадный интерес к жизни во всех ее проявлениях. Поэтому его поездка на Восток была отнюдь не туристической — серьезной, вдумчивой работой. Он пробыл там около года, глубоко познакомился с местной культурой. Его переводы узбекских, туркменских поэтов — подлинное творчество.

Присущие ему юмор, ирония приправляют и эти труды. Но иронизирует он не над людьми, не над их жизнью и бытом, а над своими впечатлениями от всего этого. Запомнились, например, его строки об узбекской девушке:

Двенадцатикосая (расовый признак)
И немного раскосая (местный обычай).

Юмор Тарловского отнюдь не издевательский и даже не развлекательный, он отрезвляющий антагонист свойственной иным искусственной патетике:

Наскучив праздным ремеслом,
Поэт закладывает лиру,
И лиру продают на слом
Безжалостному ювелиру.
На этой лире каждый стих
Цветист и сладостно-свирелен,
Как у павлинов перья их,
Как шлейфы у придворных фрейлин.
. . . .
Пусть гордость птичьего двора
Утратит свой придаток лирный —
К ней охладеет детвора,
Ее зарежет повар жирный.

Недолго прожил М. А. Тарловский. Всего три книжки оригинальных стихов успел он выпустить. Не слишком оберегался. Не боялся напряженного труда. Не испугался сложного по тем временам путешествия. Тем более не убоялся и своего восьмого этажа на улице Горького (тогда Тверской) в Москве: лифты еще не работали. Как бы шутя, убеждал себя: «Что ж, считаю, что живу на несколько десятков метров дальше. Не тороплюсь, поднимаюсь с передышками. Ну, уйдет на дорогу получасом больше».

Храбрился. Не в метрах и не в минутах дело, а в лишней нагрузке для больного сердца.

Мало количественно сделал Марк Тарловский, зато высококачественно. С грустью опускаю его обратно в шахту небытия. И с радостью — что заслужил он добрую память.

Н. Л. МЕЩЕРЯКОВ

Всего три раза я накоротке встречался с Н. Л. Мещеряковым, но и эти встречи не должны быть забыты из-за необычной его личности. Правда, я только позже узнал о его знаменательном жизненном пути: выдающийся участник Октябрьской революции, сотрудник «Искры», потом член редколлегии «Правды», автор трудов по истории революционного движения. А тогда просто прослышал о нем как о заведующем Госиздатом. Было это во второй половине двадцатых годов. Был я не так уж молод и все же проявил достаточно глубокое невежество и недостаточную, мягко говоря, любознательность.

Вот и понес ему первый вариант своего фантастического романа, вышедшего впервые сорок лет спустя под названием «В простор планетный».

Почему в Госиздат? Почему самому заведующему?

На первый вопрос отвечаю так: тогда еще издательства не были строго профилированы. Существовало большое Государственное издательство, и наряду с ним было немало менее крупных и даже мелких («Новая Москва», «Земля и фабрика», «Прибой», «Жургаз» и др.), а также частные (Френкеля, «Сеятель», «Современные проблемы» и др.) и кооперативные («Московское товарищество писателей», «Мир» и др.) издательства. Можно было обратиться — и это было бы ближе по тематике — в «Молодую гвардию» — тоже тогда уже крупное государственное издательство.

Но тут отвечаю на второй вопрос. Кто-то из писателей рекомендовал мне обратиться именно к Мещерякову, который заслуженно слыл душевным, внимательным человеком. А тематика тогда решающей роли не играла: почти каждое издательство выпускало такую литературу, какую считало нужным выпускать: художествен-

ную — оригинальную и переводную, научную, научно-популярную.

Мещеряков, можно сказать, был человек легендарный. Да и обычаи издательские, с нынешней точки зрения, были легендарными. Никакого секретаря, пожалуйте прямо к заведующему (по-теперешнему — к директору).

В кабинете встал навстречу мне высокий старик (ему было за шестьдесят) с внимательным взглядом и радушным голосом. Моя фамилия не могла быть ему известна. Но он взял рукопись и в течение немногих дней сам ее прочитал. Конечно, и потому, что тогда еще не было нынешнего селевого потока рукописей. Но еще и потому, как я впоследствии понял, что это был человек ленинской когорты, ленинской выучки, ленинского отношения к людям.

Не знаю, почему моя рукопись ему понравилась. Думаю, потому, что научная фантастика, несмотря на уже появившиеся произведения А. Н. Толстого, А. Богданова, А. Беляева, была у нас еще в зародыше и каждая вещь, носившая хоть слабый отпечаток авторской индивидуальности, могла привлечь к себе внимание. Но позже, выслушав отзывы редакторов и товарищей-писателей, вчитавшись в рукопись, я с огорчением убедился, что она очень слаба. Впоследствии переделывал ее не раз и намеренно не сохранил тот вариант, хотя ради него побеспокоил нескольких ученых-консультантов.

При следующей встрече Николай Леонидович сказал, что намерен издать эту вещь.

Но до договора дело не дошло. Когда я еще раз встретился с Мещеряковым, он сочувственно сообщил мне, что произошло профилирование издательств и мне следует обратиться в «Молодую гвардию». И тут же предложил мне для издательства свою рецензию на рукопись. С этой рецензией, незаслуженно одобрительной, я туда и направился. Наверно, и она сыграла свою роль (Меще-

ряков был человек очень авторитетный), возможно, и издательство оказалось недостаточно взыскательным, но со мной заключили договор. Однако роман тогда так и не вышел — видно, рукопись позже оценили по достоинству,— но все, что причиталось по договору, выплатили.

Больше я с Николаем Леонидовичем не виделся. Но навсегда осталось впечатление большой душевности, интеллигентности, доброжелательного внимания к рядовому человеку. Чтобы я мог узнать, когда моя рукопись будет прочитана, он, как нечто само собой разумеющееся, дал мне номер своего домашнего телефона.

Когда я позвонил в первый раз, ответил милый голос его старушки жены: «Он ушел к стареньким большевичкам, позвоните, пожалуйста, позже».

Вот такой «домашний» стиль существовал в его семье даже для деловых отношений.

Общество старых большевиков позже ликвидировали.

Никогда не прощу себе, что по дурацкой неопытности не сохранил автограф Мещерякова. Не сняв копии, отдал оригинал рецензии вместе с рукописью в издательство. Ну а потом было всякое, в том числе Отечественная война, уничтожение архивов. Искать было бесполезно...

ДВА АЛЕКСЕЯ ФОВИЦКИХ

Литературовед А. Д. Романенко подарил мне второй номер «Вопросов литературы» за 1984 год. В этом номере он опубликовал воспоминания Алексея Фовицкого о встречах с Львом Толстым. Эти воспоминания первоначально были напечатаны в малоизвестном у нас журнале «Зарница», выходившем на русском языке в Нью-Йорке в 1925—1927 годах. В своем подробном комментарии к публикации А. Д. Романенко между прочим пишет: «Автором... был случайный сосед Толстого на лекции Л. Е. Оболенского — его сын Алексей Леонидович, выступавший под фамилией Фовицкий (или Фавицкий)... Известен и более ранний его псевдоним — Альфа... К сожалению, об А. Фовицком удалось пока узнать сравнительно немного, неизвестны, по крайней мере мне, ни даты его жизни, ни его дальнейшая судьба. Берлинский журнал «Новая русская книга» сообщал, что А. Фовицкий переехал в США из Японии, что в Нью-Йорке он был главным редактором русской газеты «Утро»... Известно также, что он исполнял обязанности ректора Русского народного университета, созданного в 1919 году в Нью-Йорке».

Уже после выхода журнала публикатору удалось уточнить даты жизни Фовицкого, и он привел их на полях подаренного мне журнала: 1876—1931.

А. Л. Фовицкий был яркой, необычной и разносторонней личностью. В течение ряда лет я шел с ним по жизни параллельно, и стоит вызвать его из небытия.

Фовицкий не псевдоним, как можно понять из комментария публикатора, а подлинная фамилия. Алексей Леонидович был «незаконным», то есть внебрачным, сыном Л. Е. Оболенского, о котором А. Д. Романенко правильно сообщает, что он был философом, публицистом, поэтом, редактором нескольких журналов. Значит, до-

бавлю от себя, одним из весьма заметных представителей русской интеллигенции. Как-то, давно уже, мне попался сборник его стихов, и я нашел в нем стихотворение, в котором автор с горечью говорит о том, что разлучен с сыном, что не может дать ему свое имя. Нынешнему читателю, пожалуй, трудно проникнуться сутью такой семейной драмы. Но вспомним, что пришлось пережить М. Горькому, когда он приехал в Соединенные Штаты со своей невенчанной женой.

Однажды в Екатеринославе в театре Алексей Леонидович познакомил меня со своей матерью, которая приезжала к нему в гости из столицы. Это ее фамилию он носил. То была уже немолодая, но привлекательная женщина. Как мне рассказал Фовицкий, она была одной из первых русских женщин-врачей. Так что он происходил от весьма культурных и прогрессивных родителей: Оболенский сотрудничал в передовых для своего времени изданиях.

В 1908 году я переехал с родителями из Полоцка, где окончил четырехклассное городское училище, в Екатеринослав, и меня отдали для продолжения образования в частную гимназию А. Л. Фовицкого.

Надо хотя бы вкратце пояснить, что это такое — частные учебные заведения в царской России.

В казенные средние учебные заведения, как и в высшие, евреев принимали со строгим количественным ограничением — «процентной нормой». Евреям разрешалось жить далеко не во всех городах — только в «черте оседлости». А в сельской местности вообще не разрешалось. Были исключения, но не они решали судьбу большинства. В пределах «черты», где скапливалось подавляющее число еврейского населения, для многих молодых людей путь в среднюю школу оказывался закрытым. Чтобы сгладить такие противоречия, и существовали частные гимназии, реальные и коммерческие училища. Разумеется, они действовали как предприя-

тия, рассчитанные на прибыль. Хотя и в казенных учебных заведениях плата за учение была достаточно высокой, в частных она была в пять-шесть раз выше. Сюда отдавали своих детей либо вполне обеспеченные родители, либо те, которые шли на огромные жертвы, чтобы открыть своим детям дорогу в вуз, но и там опять-таки действовала «процентная норма», так что гарантии вообще-то не было.

Не знаю, почему и как Фовицкий оказался в Екатеринославе, когда и почему решил открыть такое весьма трудоемкое дело, как содержание частной гимназии. Человек образованный, богато одаренный, он, наверно, мог бы и без этого хлопотливого предприятия жить безбедно и гораздо интереснее, избрав профессию, например, журналиста — за это говорят его выступления в прессе, о которых, между прочим, упоминает Романенко. Заведование таким сложным хозяйством, как гимназия с ее сотнями учеников, родителей, отношения с которыми часто бывали непростыми, учительским составом и другими служащими, наконец тоже далеко не простые отношения с курирующими административными органами — все это должно было отнимать уйму времени и душевных сил. Откуда же их было взять еще для того, чтобы следить за литературой, искусством, заниматься какой-то творческой работой? А ведь он был ко всему этому способен, подготовлен, у него была во всем этом потребность.

Теперь, через громаду лет, пытаюсь реконструировать в своей памяти эту сложную и противоречивую индивидуальность и вижу, что она распадается в моем восприятии на две фигуры. Одна — блестящий, разносторонне способный интеллигент, который, как мне кажется, мог бы занять в истории русской журналистики и общественной мысли не меньшее место, чем его отец. И другая — тип более или менее удачливого дельца, добытчика, по горло занятого своим «бизнесом». Когда

наше знакомство стало более близким (как тогда говорили, коротким), он подарил мне свой большой («кабинетный») фотопортрет. Мне удалось пронести этот подарок через многочисленные этапы суровой жизни.

Я поступил в четвертый или в пятый класс. Это равнялось примерно нынешнему седьмому, так как полный курс среднего образования укладывался в восемь классов. С Фовицким, директором или, как он официально именовался, содержателем гимназии, у меня вначале личных контактов не было. Это позже он стал преподавать у нас русскую литературу. Очень мне повезло с учителями литературы!

Но в первое время, как и почти все ученики, я воспринимал школьную администрацию, да и педагогов, как нечто враждебное. Ну еще бы! Они ведь требовали от нас знаний, дисциплины. А кроме того, ученики из небогатых семей знали, что родители тянутся порой из последних сил, чтобы оплачивать учение,— какой же тут был стимул восхищаться предпринимателями от образования?

Как водилось во многих учебных заведениях, мы издавали в классе журнал. Не сумели придумать для него более оригинального названия, как банальнейшее «Луч». В этих тощих тетрадочках мы не только упражнялись в литературных опытах (весьма примитивных), но и выражали свои «гражданские» чувства, свой «гражданский» протест — и против царского правительства (что было, конечно, сильнейшим криминалом, попади эти «произведения» каким-либо образом в руки полиции), и против гимназической администрации и нелюбимых учителей. В сущности, и для правительства, и для гимназического начальства все это было совершенно безопасно, так как журнал издавался тиражом в один экземпляр — писался от руки. Но кто бы из них стал терпеть такое бесцензурное издание, если бы знал о нем? Мы всячески и старались, чтобы не знали.

Однажды на уроке математики, которая меня не очень увлекала, я зачитался очередным номером «Луча». Журнал лежал между страницами раскрытого учебника. Авторское и редакторское самолюбие побуждало меня в который раз восхищаться иллюстрациями и текстом. В номере, между прочим, был изображен весьма похоже сам Фовицкий. Он закручивал винты пресса, под которым лежали несколько человеческих фигур. Чтобы пресс хорошо работал, правитель канцелярии Можаровский, тоже очень похожий, подливал из лейки масло. С лежавших под прессом стекали капли. Под рисунком была подпись:

Жмет Фовицкий, выжимает,
Можаровский масло льет.
Из родителей стекает[1]
В виде денег крупный пот.

Не в бровь, а в глаз: родителям неустанно напоминали о своевременном взносе денег, иначе... Однажды не без успеха была применена весьма серьезная санкция: школьный сторож (по-нынешнему, техничка, только мужчина) дежурил перед началом занятий у входа и отбирал у недоимщиков ученические билеты, не допуская их к занятиям.

Помимо некоторых безобидных стихов и прозы, был в этом номере рисунок, иллюстрирующий подмеченный учениками роман между долговязым преподавателем геометрии и дебелой учительницей французского языка. И тоже с соответствующей эпиграммой.

Поглощенный перечитыванием журнала, я не заметил, как из-за моего плеча протянулась рука и схватила его. Я нетерпеливо обернулся. Это был тот самый учитель геометрии. Его урок шел. Машинально я встал и стоял как труп, если бы труп мог стоять. Стоял без мысли, без чувства.

---

[1] Так в подлиннике.

Потом, постепенно приходя в себя, шел по длинному светлому коридору к кабинету Фовицкого. Коридор был пуст, снег и солнце освещали его сквозь большие окна. За стеклянными дверями еле слышно гудели классы. Я один был вне занятий. Неужели исключат? Но ведь частная... Ну и что, не один же я, найдут другого. А надо, верно, чтоб неповадно... А отец?

Потом я стоял, опустив голову, в просторном кабинете. Яркие блики играли на свеженатертом полу. Бас Фовицкого, не слишком, к удивлению, грозный, заставил меня поднять глаза. Алексей Леонидович стоял против меня со злосчастной тетрадкой в руке. Он медленно перервал наш «Луч» пополам, потом на четвертушки, потом еще и еще... Белые хлопья усеяли пол как снежинки.

«Я этого не видел и не читал»,— спокойно, без интонаций сказал Алексей Леонидович.

Не помню, как я вышел и вернулся в класс, что отвечал на сочувственные вопросы товарищей.

Очень странно, но после этой встречи завязалось наше знакомство и, позже, дружба с Алексеем Леонидовичем. Какую-то роль сыграло то обстоятельство, что я уже был «поэтом» губернского масштаба, печатал стихи в местных газетах, хотя, конечно, он не мог не понимать, что бо́льшую часть их вовсе бы не следовало печатать.

Что касается разницы лет, то она с каждым годом неуклонно сокращалась — разумеется, не абсолютно, а относительно. Особенно это было видно на уроках литературы, когда речь шла о письменных заданиях. Или в случайных беседах в коридоре. Чувствовалось, что Фовицкий в курсе литературных событий, я сильно уступал ему в этом. Порой я недоумевал, как мог он сочетать широкий интерес к литературе, к другим областям культуры с поглощающими столько сил и времени хлопотами по гимназии.

Я окончил гимназию в 1913 году — в год трехсотлетия царствования дома Романовых. Мне выдали аттестат

с портретами царей — первого и последнего, который и окончательно оказался последним. Я уехал учиться в Женеву. А когда приехал на каникулы летом 1914-го, началась первая мировая война, и я застрял в Екатеринославе. Долго еще после начала войны жизнь в тылу шла вроде бы по наезженной колее, но постепенно стала свертываться.

Фовицкий и тут проявил незаурядную предпринимательскую сметку. Он решил загодя избавиться от гимназии: продал ее другому педагогу-предпринимателю. Вероятно, дешево, но, наверно, в основном материально пострадал его преемник.

Но уже задолго до того занятия начали разлаживаться. Не только у Фовицкого — везде. В этой обстановке он решил — может быть, как ему казалось, временно — не отдавать сына-подростка для дальнейшего образования в учебное заведение: пусть учится дома. А как? Тут он и надумал привлечь меня в качестве воспитателя к Алеше.

Возможно, для этого была и другая причина, кроме общих обстоятельств. Я замечал, что семья Фовицкого начала распадаться. Чувствовалось, что с женой у него очень разные интересы. Он подолгу отсутствовал в Екатеринославе, часто уезжал в Петроград. Там у него намечались какие-то новые дела, а может быть, и что-нибудь личное.

Алеше было лет одиннадцать-двенадцать. Мальчик он был живой, способный, но очень уж озорной — сказывалась не совсем нормальная обстановка в семье. Однако мне удалось довольно быстро найти с ним общий язык. Я был именно его воспитателем, а не просто учителем, тем более что не во всех предметах свободно ориентировался, например в математике. Главным было, как мне казалось, на этом этапе заинтересовать его.

Алешино озорство делало жизнь не всегда нормальной. Наслышавшись дома либеральных речей, он однаж-

ды стал очень энергично бросать камни в открытые окна квартиры архиерея, которая была по соседству — тут же, в нагорной части города. Архиерей Агапит был весьма влиятельной персоной и черносотенцем. Фовицкий мог нарваться на крупные неприятности. Он сурово пожурил Алешу. Похоже, помогло.

Другой случай был пострашнее.

Придя с утра на занятия, я увидел: Алеша обходит дом на уровне третьего этажа по карнизу в один кирпич. Я оглянулся. Улица была безлюдна. Он меня не видел, сосредоточенно глядел себе под ноги. Я почти не дышал. Потом укрылся за угол и оттуда наблюдал: не спугнуть бы.

Наконец-то! Я только и мог произнести: «Расскажу Алексею Леонидовичу». Когда я это сделал в присутствии Алеши, Алексей Леонидович сказал: «Ты знаешь, что я противник телесных наказаний. Но на этот раз тебя выпорю». И выпорол.

Любопытно, что ни на меня, ни на отца Алеша зла не возымел. Тяжелый след оставляют только несправедливые наказания.

В 1916 году я уехал в Петроград учиться в психоневрологическом институте, и наши занятия прекратились. Но встречи с Алексеем Леонидовичем, хотя и более редкие, продолжались — во время его наездов в Петроград. А вернувшись в Екатеринослав после Февральской революции, я потерял из виду всю эту маленькую семью.

В конце двадцатых годов я получил письмо из Ашхабада от Алексея Алексеевича Фовицкого. Он прислал его на адрес «Огонька», где печатались мои очерки. Завязалась переписка, а вскоре он переехал в Москву, и я радостно встретил его. Оказалось, что, оставшись вдвоем с матерью в Екатеринославе, он пустился в бега, принял участие в гражданской войне против белых, в конце концов осел в Ашхабаде и начал заниматься журналисти-

кой, избрав себе псевдоним Облонский — одновременно в честь деда и героя Льва Толстого. В Москве он быстро сориентировался, ему помогли и личное обаяние, и способность к оперативной работе, и незаурядная энергия. Он стал работать на радио, писал и редактировал передачи по произведениям русских и зарубежных писателей. Привлек, в числе других, меня к этой работе. Помнится, я делал для него передачи по произведениям Глеба Успенского, Щедрина, Добролюбова, Джека Лондона и других.

Алексей Алексеевич рассказал мне, что его мать вышла замуж и живет с новым мужем в Москве. Я побывал с ним у них. То были уже стареющие симпатичные добрые люди. У Алексея Алексеевича сложились с ними хорошие отношения, да и у меня тоже. А вот свою семью он не успел, очевидно, завести. Говорю «очевидно», потому что с началом Отечественной войны я потерял его из виду, да и его мать тоже. Куда же он делся? Вернувшись с фронта, я пытался разыскать его через знакомых журналистов, но безуспешно. Возможны два предположения. Первое — он был офицером запаса и мог погибнуть на войне. Второе — еще хуже. Вспомним, какое было время. Иметь отца за рубежом, хотя бы и не антисоветчика, считалось преступлением, тем более что он не отрекся от отца печатно, как тогда в таких случаях практиковалось. Правда, было сказано: «Сын за отца не отвечает». Но далеко не всегда так было на деле.

Алексей Леонидович после февральской революции вступил компаньоном в какое-то издательское предприятие, а после Октября эмигрировал, только не на юг, как, например, участники булгаковского «Бега», а на восток. В первой половине шестидесятых годов я встретился в голицынском Доме творчества со старой писательницей Л. Н. Фивейской, вернувшейся на родину из эмиграции в Соединенные Штаты. На всякий случай, не особенно надеясь узнать что-либо, спросил ее, не встречалась ли

она с Фовицким. «А как же,— ответила она,— он ехал через Сибирь в Японию с нашей труппой». (Очевидно, она была в прошлом и актрисой.) Поскитался Алексей Леонидович порядочно: из Японии — в Китай, оттуда — в Америку. В Нью-Йорке, где он занимал весьма престижное положение в русской колонии, жилось ему вряд ли сладко, если не в материальном отношении, то в моральном. Может быть, это, а может, и что иное стало причиной его преждевременной скоропостижной смерти за городом, в гостях на даче у друзей.

Кроме фотографий обоих Фовицких, у меня сохранилась наша выпускная «группа» — большой картон с вмонтированными отдельными фотографиями учеников, учителей, школьной администрации — всех, включая положенных по штату врача и священника. Алексей Леонидович, как и полагается начальству, изображен наособицу — в большем масштабе да еще в рамочке. На нем парадный летний китель с петлицами — форма Министерства народного просвещения.

Узнаю преподавателей, многих учеников, товарищей, но не всех — о некоторых память стерлась за семьдесят пять лет. Судьбы всех различны, иных — трагичны. И демографическая статистика говорит: вряд ли кто еще жив.

Что ж, против законов природы не пойдешь. Тем более надо, надо извлекать людей из тьмы прошлого, из пустоты небытия, по возможности сохраняя след каждого на свете. Может быть, когда-нибудь, если силы и время позволят, расскажу о некоторых из тех юных, полных сил и надежд, которые вдумчиво вглядываются в будущее из этих овальных карточек, и о наших воспитателях.

УЧЕНЫЙ-ПИСАТЕЛЬ

После скитаний по разным высшим учебным заведениям в 1922 году мне удалось наконец завершить свое образование в Петроградском университете. Закончил его в 1924 году (с зачетом сданных прежде дисциплин) — факультет общественных наук, литературно-художественное отделение, а в этом отделении еще такое подразделение: художественно-инструкторский цикл,— и получил право преподавать в учебных заведениях литературу и, кажется, историю искусства.

Рассматриваю сейчас обветшавшее от времени свидетельство об окончании университета. Убогий вид его отражает то бедное время. Двойной лист простой писчей бумаги, разве только немного поплотнее обычного, на нем отпечатанные на пишущей машинке названия сданных предметов и полагающиеся подписи.

Перечитываю длинный список освоенных и в значительной степени забытых наук и не нахожу среди них этнографии. А была! Возможно, она прячется в этом наименовании: история материальной культуры. Читал ее человек, которого слушали очень охотно, несмотря на то что тогда посещение лекций было не обязательно. Аудитория на его лекциях всегда была переполнена, и не только потому, что читал он одновременно и для студентов этнолого-лингвистического отделения: нередко приходили и многие студенты других факультетов.

В. Г. Богораз (литературный псевдоним Тан) до революции не был профессором. Он был активным революционером, принадлежал к организации «Народная воля», около десяти лет провел в ссылке в Сибири. Ссылки и тюрьмы ломали слабых, закаляли сильных. Владимир Георгиевич был человеком неукротимой энергии. Кроме того, он обладал ценнейшим свойством — любил людей, живо интересовался их жизнью. Сибирь насе-

ляли малые народы, царское правительство объединяло их презрительным названием — инородцы. Вот тут-то и развернулся научный талант Богораза. Годы, проведенные в ссылке, стали для него годами внимательнейшего наблюдения за этими народами, изучения их жизни. Здесь-то он и стал этнографом, вернулся обогащенный новыми знаниями.

Богораз был не только талантливым ученым, но и, как я уже сказал, великолепным лектором. Его лекции захватывали. То были не доклады, не сообщения, а беседы, хотя и монологические. Он не читал — рассказывал, и без каких бы то ни было ораторских приемов.

Я было начал делать записи лекций Богораза, но быстро бросил это: кто же записывает дружескую беседу или рассказ собеседника о своих знакомых? Речь его была обстоятельна, нетороплива, увлеченна, если понимать под увлеченностью глубокую заинтересованность рассказчика, и увлекательна, если иметь в виду такую же заинтересованность слушателей.

Он вовсе не затушевывал примитивизма жизни малых народов. Да, говорил он, они не носят наших одежд, хотя, правда, их одежда приспособлена к условиям их жизни, их жилища не могут удовлетворить потребности цивилизованного человека, пища тоже. Чукчи, эскимосы, ламуты не знают правил гигиены, лишены медицинской помощи, зачастую неопрятны, подвержены вредным привычкам, не умеют правильно воспитывать детей, у них высокая смертность, особенно детская. Но кто же в этом виноват? Царское правительство, которое грубо помыкало ими, отдавало их во власть невежественных и жадных чиновников-мздоимцев. И «цивилизованное» общество, которое не удосуживалось просвещать их. Лишь ссыльные и каторжане несли им искры света.

С гневом говорил Богораз о тех, кто называл эти малые народы некультурными. Нет, у них своя культура, свои языки, свои представления об окружающем

мире. Они не цивилизованны, но цивилизация и культура не обязательно совпадают.

Я знал и других этнографов, причем тоже весьма серьезных, читал их труды о тех же сибирских народностях, об американских индейцах. Эти труды были познавательны, хотя их авторы зачастую пользовались не личными наблюдениями, а сообщениями иных исследователей, путешественников. Но в рассказах Богораза чувствовалась заинтересованность человека, повествующего о своих знакомых, друзьях. Была взволнованная апологетика защищающего угнетенных, униженных. А мог ли быть иным настоящий ученый, независимо даже от того, к какому революционному учению он принадлежал?

И проза, и стихи Тана неоднократно издавались, пользовались неизменным вниманием читателей. Поэзия занимает небольшое место в его литературном наследии, но в свое время популярная «Библиотека поэта» уделяла ей внимание, хотя, надо сказать, стихи его не выделяются особой творческой оригинальностью. Но темперамент бойца чувствуется и в них.

Революционер, этнограф, увлеченный и увлекающий лектор, поэт, беллетрист — такова многогранная личность Богораза — Тана. А еще он был отличным журналистом. Например, в пятом номере московского ежемесячника «Россия» за 1925 год была опубликована его обширная корреспонденция — путевые очерки о поездке по Западной Европе и Америке «За чертой оседлости». Заглавие, правда, выглядело анахронизмом: революция навечно уничтожила пресловутую «черту оседлости». Но вообще эти очерки — блестящая журналистская работа: серьезная по содержанию, фельетонная по форме. Не могу удержаться от небольшой цитаты:

«Тевтоны под знаком крючковатого креста прямо справляются, на чьей стороне будет Россия в будущей свалке.

— А на чьей стороне будет Германия? — спрашиваю я.

Милейшая фрау Гейер рассказывала мне, как в Тевтобургском лесу ежегодно собираются тевтонские студенты — семьсот делегатов, и славят победу Арминия над римскими легионами, и клянутся над его костями отомстить за недавний позор. Глупая, должно быть, выходит сцена, но все немки плачут от умиления при одном рассказе.

— Мы еще им утрем морду,— сказал мне молодой приказчик оптического магазина».

В насмешливых репортажных строках сквозит прозрение грядущих ужасов гитлеризма, и, читая их, задним числом ощущаешь жуть.

Однако Тан владел и жанром строго описательного, как сейчас говорят, документального репортажа. Мне посчастливилось купить у букиниста одну из таких его книг: «Тан. Очерки и рассказы. Том пятый. 2-е издание Н. Глаголева. СПБ». Год выпуска не указан, но старая орфография явно выдает дореволюционное происхождение книги. Львиная часть ее — очерки жизни духоборов в Канаде. Эти русские сектанты, вдохновленные учением Льва Толстого, преследовались царским правительством и переселились в Канаду, чтобы попытаться осуществить свою идею — создать идеальное общество. На чужбине они сохранили свой язык, религию, обычаи. Как истинный журналист, Тан не убоялся трудного тогда путешествия через океан и создал книгу добросовестного и внимательного наблюдателя. Очерки эти дополнены двумя рассказами, в которых описываются быт и приключения российских переселенцев в Соединенных Штатах — опять-таки по непосредственным личным впечатлениям.

В библиографическом указателе «История русской литературы конца XIX — начала XX века» (М.— Л., Изд-во Академии наук СССР, 1968) помещена довольно подробная, хотя и не совсем полная библиография Тана.

ОЛЕГ КОРЯКОВ

В начале шестидесятых годов я послал, в порядке самотека, в редакцию журнала «Уральский следопыт» небольшую научно-фантастическую повесть. Вопреки обыкновению ответ пришел довольно скоро. Сотрудница редакции прислала рукопись с весьма доброжелательным отзывом, с просьбой исправить отмеченные рецензентом промахи и вернуть повесть для опубликования в журнале.

Рецензия была подписана известным свердловским писателем Олегом Коряковым.

Моя дополнительная работа над рукописью заняла всего два-три дня — так невелики были требования рецензента. Я отправил рукопись и снова стал ждать ответа.

Он пришел опять скоро, но ошарашил меня. Вместе с рукописью пришла новая рецензия (фамилию ее автора я не запомнил), диаметрально противоположная первой. Повесть была начисто забракована — и содержание, и язык.

Что ж, и такое бывает. С различными оценками одной и той же вещи приходилось сталкиваться не только во внутриредакционных рецензиях, но и в печатных отзывах об уже опубликованном. Неясно было только, почему редакция так решительно встала на сторону нового рецензента и категорически отклонила ранее одобренную вещь.

Смущало и другое: какой-то раздраженный, откровенно недружелюбный тон нового отзыва, даже с издевательским оттенком.

Прошел ряд лет, и вот как-то прочел в газете поздравление уже московскому писателю Олегу Корякову с его пятидесятилетием. Вспомнил приятное впечатление, которое произвел на меня в свое время его доброжела-

тельный отзыв, узнал в отделе творческих кадров Союза писателей его адрес и от всей души письменно присоединился к поздравлению, напомнив о злосчастной повести.

В ответ пришло письмо:

«Москва, 18.5.70

Уважаемый Абрам Рувимович!

Примите самую сердечную признательность за теплые слова привета в день моего 50-летия.

Вашу повесть «Заговор» я помню и помню, что она оставила у меня хорошее впечатление. К сожалению, в редакции того журнала до сих пор существует предвзятое отношение к авторам-евреям. В свое время мне пришлось изрядно повоевать со «следопытами» из-за повести моего друга Д. И. Шейнберга-Давыдова, однако и сейчас некоторые из них полагают, что прежде всего надобно смотреть не *как,* а *кем* написана вещь.

Всего Вам доброго, Абрам Рувимович!

С уважением *Ол. Коряков».*

Отмечу, между прочим, что впоследствии, очевидно, состав редакции изменился, так как мои взаимоотношения с ней приняли совсем другой характер, и журнал опубликовал ряд моих заметок.

Письмо Корякова крайне удивило меня. В те времена оно звучало еретически. Считалось, что у нас нет и не может быть антисемитизма, как, впрочем, и других бед — коррупции, преступности, проституции и прочего. Высказывание противоположного мнения грозило крупными неприятностями. Поэтому письмо Олега Фокича я расценил как своего рода гражданский подвиг: ведь он меня лично не знал, а вдруг я, хотя бы невзначай, расскажу о нем кому не следует!

Но и я ведь не лыком шит и до времени сохранил это послание в тайне.

Нечего и говорить, что письмо Корякова расположило меня к автору. Возникли личные встречи.

Олег Фокич оказался обаятельным человеком. Дело не только в том, что он был красив, что голос его был приятного тембра, а тон неизменно доброжелателен, гораздо важнее, что он был человеком прогрессивных взглядов. Книги его, которые с начала нашего знакомства он неизменно дарил мне с самыми дружескими надписями, выходили в Свердловске и в Москве — в издательстве детской литературы. Из них больше всего хочется остановиться на романе «Очищение».

Журнал «Детская литература» в 1970 году, к пятидесятилетию Корякова, напечатал его автобиографию, где он, упомянув о своих книгах для детей, сказал: «Но пишу я и для взрослых» — и назвал роман «Очищение». Однако, перечитывая эту книгу, вспоминаю известное изречение: «Писать для детей надо так же, как и для взрослых, но только лучше». Не нахожу в этом романе ничего такого, что не было бы доступно детям старшего возраста. И написан он без оглядки на какой-либо возраст, но с той простотой, которая всегда сопутствует подлинной художественности. Правда, говорят, серьезное чтение — это труд, читатель должен выполнять его в дополнение к авторской работе. Ну, пусть это справедливо для научных трудов. А должен ли автор художественного произведения загружать читателя расшифровкой своих мыслей и чувств, особенно при чтении поэзии? Не отвлекает ли это читателя от вызываемых чтением эмоций и мыслей?

Не настаиваю, однако, на этих соображениях: вряд ли мемуары — место для литературных дискуссий. Но вернусь к «Очищению».

Пожалуй, это первое в нашей литературе произведение, посвященное разоблачению лысенковщины, если не считать биографии Вавилова, написанной Марком Поповским. Ту книгу категорически отказались издать у

нас. Поповский, человек настойчивый и принципиальный, публично читал свою рукопись в клубах интеллигенции — Домах ученых, литераторов. В результате ему пришлось эмигрировать, и мы лишились еще одного честного писателя, да вдобавок его оклеветали в печати. Алма-атинский журнал «Простор» опубликовал тогда отрывки из биографии Вавилова, за что редакция незамедлительно подверглась карам.

У меня имеется «Очищение» в двух изданиях, и история каждого связана с дорогими мне авторскими надписями.

Впервые роман был издан в юбилейном сборнике Корякова в Свердловске (Средне-Уральское кн. изд-во) в 1970 году. Он подарил мне эту книгу с теплой надписью. Читать книги друзей хочется особенно внимательно. А при таком чтении, естественно, обращаешь особое внимание и на удачи, и на погрешности автора. Случалось, иные обижались, когда я знакомил их не только с одобрительными, но и с укоризненными замечаниями, сделанными мной на подаренных ими книгах. Коряков совсем иначе воспринял мои заметки. Через два года на обороте того листа, где была его первая надпись, он сделал вторую: «5.12.72. Дорогой Абрам Рувимович, вот Вы, действительно, продемонстрировали добрые чувства, чувства старшего товарища и друга... Я почувствовал это, когда готовил «Очищение» к переизданию и пользовался Вашими пометками на полях книги. С благодарностью» и т. д.

Упомянутое Коряковым второе издание вышло в том же издательстве в 1973 году и было вручено с надписью-напоминанием о моем добром отношении к этой книге.

Недоброе отношение к ней могло бы возникнуть разве только у сторонников Лысенко и, возможно, у его противников — в том случае, если бы автор был недостаточно ориентирован в материале. Но, как правило, Коряков

писал о том, что сам наблюдал и изучал. В частности, читая «Очищение», чувствуешь, что автор вполне знаком с темой. Он и сам говорил мне, что, кроме чтения научной литературы, поработал в научной лаборатории: если я не запамятовал, речь шла о лаборатории биофизики.

Немногим более пяти лет продолжались наши дружеские встречи. И в последний раз я видел Корякова таким, как в первый: крупным, густоголосым, уверенно идущим по жизни, доброжелательным, жизнедеятельным, жизнелюбивым. Тем горестнее был ошеломительный телефонный звонок: скоропостижно скончался.

На пятьдесят шестом году.

НЕУСТАННЫЙ ТРУЖЕНИК КНИГИ. ВИКТОР УТКОВ

Первый выпуск «Альманаха библиофила» вышел в 1973 году, двадцать третий — в 1988-м. В первом выпуске одним из четырех членов редакционной коллегии назван В. Г. Утков. В двадцать втором его фамилия в числе членов редакционного совета. Менялись название, состав руководящего органа продолжающегося издания, а фамилия Уткова неизменно значилась в нем, как и в числе членов совета клуба книголюбов Центрального Дома литераторов — клуба, в недрах которого и зародился этот альманах. И не только значилась — Утков был одним из самых деятельных членов того и другого. Он принимал живейшее участие в альманахе, напечатал в нем целый ряд статей, очерков, активно обсуждал направление и отдельные детали работы клуба.

Но и клуб, и альманах — только часть многогранной работы Виктора Григорьевича. Вспоминая его многостороннюю литературную деятельность, обнаруживаешь в ней некий организующий центр, от которого концентрическими кругами расходятся его интересы и труды. Центр этот — географический, и весьма немалый: Сибирь. Родина Уткова — ей он остался верен на всю жизнь, не исключительно постоянным своим присутствием, а кровным интересом к ее делам, людям, в первую очередь к ее литературным явлениям и связям.

Кто не знает «Конька-Горбунка» сибиряка П. П. Ершова? Нет числа изданиям этой поэтической сказки. Имя Ершова уже сплавилось с именем Уткова, как имя Этель Лилиан Войнич сплавилось с именем советской исследовательницы знаменитого «Овода» Евгении Таратуты. Еще в 1939 году в девятом номере журнала «Омская область» была напечатана статья Уткова «Последние годы жизни Ершова». А в двухтомном справочнике

Мацуева «Художественная литература русская и переводная» (М., 1956—1959) указаны уже две книги Уткова о Ершове, вышедшие почти одновременно в Новосибирске и Омске в 1950 году.

Начав изучение биографии и творчества Ершова, Утков уже не мог остановиться, пошел вширь и вглубь. Он создал документальную повесть о Ершове в двух томах: «Рожденный в недрах непогоды» (Новосибирск, 1966) и «В поисках Беловодья» (Новосибирск, 1977). Второй том, подаренный мне с дружеской надписью 21 мая 1978 года, храню в одном из своих шкафов.

Но и художественная проза лишь один из концентрических кругов творчества Уткова.

Много сил и внимания отдал он литературно-исследовательской работе, и это тоже в основном связано с Сибирью.

Вот изящно оформленные воспоминания издателя-просветителя М. Сабашникова (М., «Книга», 1983), подаренные мне Виктором Григорьевичем. Это тоже авторская работа, но даритель не снабдил ее автографом, считая свою роль в труде над книгой второстепенной. Но это совсем не так. Он сделал к воспоминаниям подробнейшие примечания и «Краткий комментированный указатель имен». Хорош «краткий»! Он занимает тридцать шесть страниц мелкого убористого шрифта. К каждому имени дана исчерпывающая биографическая и библиографическая справка. Да еще четырнадцать страниц столь же скрупулезных примечаний. Кто знает, какого тяжкого, изнурительного труда требует создание такого богатого справочного аппарата, какие тщательные поиски в архивах нужны для этого да как к тому же несообразно скудно оплачивается такая работа, легко поймет, что Утков совершил подлинно подвижническое дело. И результат налицо: перед читателем единолично сотворенная настоящая маленькая энциклопедия жизни и деятельности не самого крупного, но едва ли не самого

культурного русского книгоиздателя последних дореволюционных и первых пореволюционных лет.

А интерес Уткова к братьям Сабашниковым отнюдь не случаен. Именно в Сибири, на восточной ее окраине, в Кяхте, в среде русской коммерческой интеллигенции и родились братья Сабашниковы, возникли их научные и литературные интересы.

И столь же территориально (и, конечно, интеллектуально) обусловлен активный интерес Уткова к творчеству выдающегося русского поэта-сибиряка Леонида Мартынова, к драматической истории его жизни и в итоге к его поэзии. Виктор Григорьевич отдал немало сил, работая над изданиями произведений Мартынова.

А однажды он привел ко мне очень интересного человека, приехавшего к нему с Урала, из Нижнего Тагила,— С. Я. Черныха, родственную ему душу, энтузиаста-исследователя книги, в другой, правда, области, но тоже чрезвычайно трудоемкой и крайне необходимой для всех, кто серьезно любит литературу. Черных — собиратель, исследователь, дешифровщик литературных псевдонимов. Он основательно пополнил известный словарь псевдонимов И. Ф. Масанова. Степан Яковлевич оказался энергичным, целеустремленным в своем увлечении, каким и надо быть охотнику — ну пусть и не за зверями, а за псевдонимами. Какой ускользающей, затаивающейся может быть эта дичь, с какими усилиями, находчивостью, ловкостью приходится ее добывать, он рассказал в увлекательных очерках, опубликованных в «Альманахе библиофила» (выпуск третий, 1976) и в журнале «Советская библиография» (1982, № 1). Знакомя читателей с собой, он заключает первый из этих очерков так: «По профессии я рабочий, 27 лет проработал на Нижнетагильском металлургическом комбинате — скреперистом, электролафетчиком, слесарем-наладчиком промвентиляции. Продолжаю трудиться и

дальше. Днем отыскиваю недуги вентиляционных систем, а вечером ищу псевдонимы».

Утков внес солидный вклад в сибирское литературоведение. Например, в уже упомянутом третьем выпуске «Альманаха библиофила» он в доброй статье представил читателям Черныха и его библиографическую работу. В альманахе же (выпуск двадцатый, 1986) познакомил читателей с новорожденным изданием «Уральский библиофил», а в одиннадцатом выпуске (1981) развернул малознакомые страницы жизни А. Н. Радищева в Сибири. В девятом выпуске (1980) рассказал о предпринимателе, крупном исследователе Сибири и населяющих ее народов Дмитрии Корнильеве.

И это далеко не все.

Переехав в Москву, Утков остался верен сибирской тематике. Здесь он сочетал литературную работу с «аппаратной» в «Союзкниге». Никак невозможно назвать эту его работу чиновничьей. Он и в нее вкладывал творческий дух, оставался библиофилом, углубленным книговедом. Доказательства этому у меня перед глазами — книги с теплыми дружескими надписями.

Вот «Книги и судьбы», издание второе, дополненное («Книга», 1981). Судьбы чьи? Не только книг, но и причастных к ним людей. Всего девять глав, но наводящих на серьезные размышления. Здесь мы опять встречаемся с Радищевым и Корнильевым, находим увлекательные рассказы о судьбе знаменитой библиотеки сибирского купца Юдина, оказавшейся в Америке из-за дремучего невежества царских властей, об участи пионера сибирской книжной торговли Макушина и его предприятии, о судьбе первого издания перевода «Капитала» Маркса на русский язык, а также о жизненных путях его переводчика и издателя.

Книжка скромно издана, доходчива по языку — стало быть, доступна широкому читателю. Но вот что неожиданно выделяет ее из числа других схожих изданий:

каждая глава снабжена подробнейшими примечаниями с аккуратнейшими ссылками на литературные источники, а в конце книги — аннотированный именной указатель. Узнаете Уткова?

Он позаботился и о книготорговой смене. В том же издательстве «Книга» выпустил в 1986 году пособие «Продавец — книга — покупатель. Молодому книжнику». На титуле подаренного мне экземпляра сделал смешную надпись: «...многолетнему книжнику от малолетнего книжника». Уткову в то время было семьдесят три года — какой же «малолетний»? Да, я был «многолетнее» его, но только по возрасту. «Стаж» библиофильства у меня был много меньше, а сравнимого с ним знания книги и по сию пору нет.

В этой надписи, да и в других, проявился его нрав — веселый, доброжелательный, чуть ироничный — больше всего в отношении себя.

Много работал. Умел отдыхать. Ходил на лыжах. В пособии молодым книготорговцам писал: «Отдых — весьма емкое понятие, включающее в себя много разнообразных действий и состояний человека. Неправильно понимать под отдыхом только лежание на диване, сон без меры или сидение перед телевизором. Отдых должен носить прежде всего активный характер». Именно так он жил: интенсивный, порой все же чрезмерный — как тут соразмеришь? — труд, активный, но иногда недостаточный отдых.

И, уловив недоработку в отдыхе, смерть ударила его на боевом для исследователя посту — в Библиотеке имени Ленина. Уже не очень здоровый, но боевой организм сопротивлялся. Лежа в больнице, парализованный и с нарушенной речью, но в полном сознании, Виктор Григорьевич пытался диктовать письмо, просил привезти ему пишущую машинку. Но через два дня последовал уже смертельный удар.

А спустя небольшое время после его кончины я полу-

чил от него посмертный подарок — недавно вышедшую книгу «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути» (М., «Физкультура и спорт», 1988). Книга поэта и о поэте. Прислала ее дочь Уткова с надписью, свидетельствующей, что он уже коснеющим языком дал ей завещательное распоряжение — передать мне эту книгу. Я сказал «завещательное», но хочется думать, что он в ту минуту думал о жизни, а не о смерти, как каждый, кто живет трудом до последнего дыхания. Но часто ли встречается человек, способный в столь тяжком состоянии думать о том, как доставить радость ближнему?

Виктору Григорьевичу было семьдесят пять лет. Вроде бы и немалый возраст. Но я неизменно представляю его себе молодым, потому что таким знал и всегда видел.

ДОМ В ГОЛИЦЫНЕ И ЕГО ХОЗЯЙКА

Дом творчества Литфонда там построен заново. Старый сгорел. Новый совсем иной — с современными удобствами. И более вместительный. Писатели его любят, особенно те, кто ездит туда главным образом работать. В случае надобности несложно съездить в Москву. Для отдыха там, пожалуй, хуже. Участок — садик — маленький. Калитка выходит на проезжую улицу. А чтобы пройти в лес, надо пересечь автомобильную дорогу с оживленным движением. Зато на этой дороге при удаче можно поймать машину в Москву. Но мои воспоминания связаны со старым голицынским Домом творчества и с его хозяйкой — директором С. И. Фонской.

Не буду останавливаться на первоначальных годах существования этого дома. Я стал бывать там несколько позже. История первых лет дома описана в книжке покойной Серафимы Ивановны «Дом в Голицыне». Жаль только, во-первых, что книжка эта давно вышла и не переиздана и, во-вторых, что мой экземпляр украл у меня из квартиры вместе с другими книгами некто из библиофилов, приезжавших ознакомиться с моей библиотекой.

Библиовор — опасный зверь.
Чтоб избежать таких потерь,
Пред ним захлопни крепче дверь[1].

В тридцатых годах голицынский Дом творчества мало походил на нынешний. Это было двухэтажное дачное строение с декоративной башенкой на крыше и со стеклянной верандой, выходившей в сад, шагах в тридцати от калитки — больше не позволяет размер участка. Дом дореволюционной постройки раньше принадлежал семье С. И. Фонской. Она и передала его Литературному

[1] Цитата из моего фельетона в стихах, опубликованного в свое время в «Книжном обозрении».

фонду, став его первым и многолетним директором.

С. И. Фонская была замечательной личностью. История Московской писательской организации не может быть полной без памяти о ней. В тридцатые годы, когда я начал бывать в этом доме, она была уже немолода, но полна кипучей энергии. Не ограничиваясь заботой о писателях, принимала живейшее участие в делах Голицына — поселка городского типа. Но я знал ее именно как директора Дома творчества.

А в чем заключались обязанности директора? Они определялись прежде всего небольшими размерами дома. На первых порах в нем было лишь девять комнат. Большая часть их — на втором этаже, остальные — на первом. Кроме них, внизу располагались подсобные помещения: столовая, миниатюрный проходной холл, довольно просторная кухня. Таким образом, во время полной загрузки дома в нем могло находиться не больше десятка писателей, а если с женами — едва два десятка пансионеров. Часто бывало и меньше. Получалось, перефразируя слова поэта, большая, но семья. Отсюда и вытекала основная обязанность директора — быть не администратором, а заботливым главой семьи. Им-то и была эта простоватая на вид, но на самом деле вполне интеллигентная женщина с добрыми лицом и голосом, искренне расположенная к своим подопечным. Настаиваю на последнем слове: всегда и неизменно мы ощущали ее внимательную и ненавязчивую заботу.

А чем Серафима Ивановна занималась в доме? Всем. С утра и до вечера — никакой регламентации ее рабочего времени — находилась здесь. Штат, который был в ее распоряжении, естественно, был невелик, но она участвовала во всей его работе. Не потому, что не хватало персонала — его было достаточно, и не потому, что надо было надзирать за ним — люди были добросовестные. А потому, что не представляла себе, как могла бы не участвовать наравне со всеми своими сотрудниками.

Хозяйский глазок — смотрок, говорит народ. Сама все видишь — сама все знаешь. Она считала себя членом трудового коллектива, в котором владела всеми профессиями, благо в основном они были несложны. Были у нее и завхоз, и бухгалтер, которые орудовали обычно в подобии маленького сараюшка. А она с раннего утра и там, и в кухне: непосредственно участвует в стряпне. Случалось видеть, как по мелочам чинит, красит мебель.

В столовой не было обычных столиков на четверых. Ели все вместе за общим столом. Серафима Ивановна за трапезой не появлялась — в это время хозяйничала в кухне. Блюда на всех приносили в одной большой емкости, приносили и настоящий самовар. А дальше действовали самостоятельно, накладывали и наливали себе и друг другу.

Так вот и жили — семьей единой. В общем, дружной, если не считать того, что изредка, когда одна из трапезничавших уходила пораньше, кое-какие кумушки не отказывали себе в удовольствии перемывать ей косточки. Так что ж, что семья? В семье же, как известно, не без урода.

Но общий дух был дружественным. Такой тон задавала и сама хозяйка, и воспитанный ею персонал.

В первые мои приезды в Голицыно быт еще был не вполне комфортабельным. Частные строения были в большинстве деревянные и одноэтажные, они, да и Дом творчества, не пользовались государственной электрической сетью. Большая часть домов освещалась керосиновыми лампами. Некоторые владельцы имели собственные движки. Такой кустарный способ добывания электроэнергии требовал повышенных расходов и добавочных забот.

Дом творчества движка не имел. С керосиновыми лампами возни было немало. За ними надо было следить и следить. Не раз, бывало, вечером или ночью, спускаясь со второго этажа по короткой деревянной лестнице,

приходилось подкручивать фитиль под черно закоптившимся стеклом.

И с дровами персоналу мороки хватало: надо было принести их, разжечь, следить за горением, не упустить время закрыть вьюшки, да и не рано сделать это.

А колодец рядом с кухней! Правда, не надо было опускать и вытаскивать ведро — требовалось лишь вручную качать насос. Ну, тут и мы включались. И с ванной, понятно, было непросто. Но шло время, и технический прогресс добрался и сюда. Вместо уютных («приятно думать у лежанки»), но трудоемких печей появилось центральное отопление — в масштабе дома, разумеется. Засверкали электрические лампы.

Прошло еще некоторое время, и дом расширили: в десятке шагов от двухэтажного строения установили финский домик — еще четыре комнаты да небольшой холл. В этом холле местная художница устроила свою выставку — не картин (где бы они там уместились!), а рисунков. Были и «вернисаж», и дружественное обсуждение.

Да, писательский дом не замыкался в скорлупе. Были встречи со школьниками — средняя школа помещается рядом. Были выходы в клуб, на предприятия, встречи, чтения. Однажды довелось участвовать в приеме приглашенных солдат. Их пришло несколько десятков. Серафима Ивановна организовала хорошее угощение. Гостей рассадили группами вперемежку с писателями. Разговорить ребят оказалось трудно. Недавние школьники, чувствовавшие себя в воинской дисциплине как в необмятой новой одежде, сначала смущались и отмалчивались. Ну а дальнейшее зависело от коммуникабельности ближайшего по столу писателя. Прощались тепло.

Связующим звеном во всех внутренних и внешних встречах была Серафима Ивановна, хотя большей частью сама не присутствовала. Но организовывала, на-

лаживала — не всегда зримо, но всегда действенно и деликатно.

Однажды летом, проезжая в машине, к нам завернул скульптор С. Т. Коненков. В дом не вошел, уселся в саду. Все наличные писатели обступили его; разговор был беглый, мимолетный, но оживленный. Коненков был уже очень стар, а осталось впечатление как от человека жизнеспособного, с широким кругом интересов.

Когда вернулся на родину А. И. Куприн, Литфонд на первых порах поселил его в Голицыне. Думаю, потому, что рассчитывали на опыт и добросердечие Фонской. И не ошиблись. Она все устроила наилучшим образом. Куприн был уже тяжело болен, в обычных условиях Дома творчества ему было бы трудно. Серафима Ивановна по договоренности с правлением Литфонда сняла для него с женой дачу, обеспечила уход, послав одну из лучших своих помощниц. Впрочем, не буду на этом останавливаться — о пребывании Куприна в Голицыне подробно рассказано в книге самой Серафимы Ивановны и в воспоминаниях дочери писателя «Куприн — мой отец».

Не буду также дублировать рассказ Фонской в ее книге о тяжком времени, когда на короткое время заняли Голицыно гитлеровцы, безуспешно рвавшиеся к Москве. Сама Серафима Ивановна и ее помощницы — персонал же в основном женский — держались мужественно и с достоинством.

Многие писатели — не только московские, но и дальние — тянулись к голицынскому дому. Но не всех желающих мог он приютить: очень уж мал был. Некоторые находили несложный выход: снимали, кому удавалось, невдалеке дачу и пользовались курсовками. Приходя за пищей, они имели возможность общаться друг с другом и с пансионерами дома — получался коллектив, хотя и менявшийся по составу: жильцы и курсовочники ведь сменялись. А некоторые и приобрели дачи в Голицыне: Поступальская, поэты Шведов, Благинина и другие. Да-

же те из них, кто завел самостоятельное хозяйство, систематически навещали Дом творчества как центр взаимного общения.

Среди московских писателей у этого дома были свои патриоты, предпочитавшие его всем другим: тихо, работать спокойно.

Из таких патриотов особенно запомнилась чета Гусевых. Н. Н. Гусев в молодости был секретарем Л. Н. Толстого, правда всего два года (1907—1909), и навсегда подпал под обаяние великого старца. Глубоко проникшись идеями Льва Николаевича, он во время работы с Толстым всемерно старался распространять его философские труды. Царское правительство среагировало четко: Толстого не решались трогать, а Гусева выслали. Толстой возмущался, протестовал, доказывал, что если в его трудах есть криминал, то наказывать надо его, а не Гусева. Диалог не получился: он разговаривал с глухонемыми.

А Гусев всю жизнь отдал трудам и идеям Толстого. Он создал фундаментальные научные работы — биографию Толстого, литературоведческие произведения.

Николай Николаевич, несмотря на весьма почтенный в то время возраст, был крепок душой и телом. Если нужно было по делам, ездил в Москву. Ему были по силам полуторакилометровый пеший переход до станции и высоченный мост через пути.

Но начинал он свой «отдых» с приезда обязательно в машине — с тяжелым грузом: материалами для работы. Работал усидчиво, упорно, плодотворно, не отвлекаясь, но был общителен, не избегал веселой шутки.

Когда Николай Николаевич находился в голицынском доме, он был неназванным, но признанным старейшиной. Такой тон по отношению к нему держали и живущие в доме, и хозяйка. Разумеется, принимались во внимание и его привычки, в том числе вегетарианство.

На почве повышенного внимания к Николаю Нико-

лаевичу случился однажды и не совсем приятный эпизод. Ко дню его рождения (уж не помню, к которому) Серафима Ивановна испекла пирог и, по старинному обычаю, запекла в него «на счастье» монету. Надо же было, чтобы, напав на эту монету, Николай Николаевич сломал зуб! Велико было смущение, раскаяние Серафимы Ивановны. Он ее успокаивал как мог.

Под стать Николаю Николаевичу была его жена, постоянно сопутствовавшая ему. Тоже очень старая, но живая, общительная. Рано утром, до завтрака, выглянешь в окно — она уже в саду: высаживает деревья, окапывает, поливает. Пример заразителен — уход за деревьями стал общим обыкновением.

Из завсегдатаев голицынского дома запомнился еще пушкинист И. Л. Фейнберг, подаривший мне свою книжку из библиотеки «Огонек» «Последний труд Пушкина» с дружественной надписью. Его любили слушать, особенно когда он читал стихи, главным образом Пушкина. Не скажу, что читал как профессиональные чтецы, но читал отчетливо, доходчиво, впечатляюще. Поражала его огромной вместимости память: он мог читать целый вечер, и все время хотелось слушать.

Завсегдатаями дома была чета — В. Г. Финк с женой. Финк был интересный писатель. Во время первой мировой войны ему довелось служить во французском Иностранном легионе, и он написал интересную книгу об этом своеобразном военном образовании. Книга эта имеет большое познавательное значение, как и его «Литературные воспоминания». Прочтите — эти книги стоят того. Да достанете ли? Жаль, не переиздаются.

Что ж я все о стариках?

Да и неудивительно: пожилые писатели больше других стремились в спокойное Голицыно.

С поэтессой Верой Звягинцевой и ее мужем мы совершали пешие прогулки по пушкинским местам — в Захарово, Большие Вяземы, поклонились могиле умер-

шего в младенчестве брата Александра Сергеевича, находившейся на территории конного завода. Это была тоже очень дружная чета: немолодая, но по-своему обаятельная поэтесса и скромный пенсионер-бухгалтер. Он был «сердечник», и жена, сама не очень уже здоровая, трогательно ухаживала за ним. Но болезнь взяла свое: вскоре он скоропостижно скончался в московской квартире, протянув жене руку за очередной чашкой чая.

Она ненадолго пережила его. На подаренной ею мне книге стихов «По русским дорогам» сделана надпись: «...на память о дорогах в Захарово и Б. Вяземы». Поэзия Звягинцевой негромкая, но подлинно талантливые стихи хочется от времени до времени перечитывать.

В мои последние приезды Серафима Ивановна, освободившись от дневных трудов и забот, иногда по вечерам заходила ко мне в комнату и читала очерки о бывавших в Голицыне писателях. Многие из этих очерков вошли впоследствии в ее книгу. Я погрешил бы против правды, если бы сказал, что это были художественные очерки. Там не было ни биографий, ни характеристик писателей, ни их образов, созданных мастером литературы. Да Серафима Ивановна и не была мастером. Но есть другое, мимо чего нельзя пройти: точное, детальное описание тех сравнительно немногих дней, что ее подопечные проводили в Доме творчества, маленькие, но, возможно, больше никем не замеченные и не описанные факты, моменты, случаи, штрихи, без которых не может быть достаточно полной картины их жизни и творчества. И, значит, для многих биографов здесь имеется ценный материал. Жаль, жаль, что книги Фонской нет на прилавках...

Серафима Ивановна под старость болела, ушла на пенсию. Жила она в Голицыне, в своем собственном доме, со взрослыми детьми. До конца жизни поддерживала дружественные связи с коллективом Дома творчества и с бывавшими там при ней писателями.

СИНИЦА В РУКАХ

Философ-утопист Н. Ф. Федоров (1828—1903) выдвинул проект воскрешения мертвых, в частности наших предков. Для этого лишь требуется собрать в мировом пространстве частицы, из которых состоял каждый данный индивидуум, и соединить их. Задача мемуариста куда скромнее, но зато реалистичнее: он воссоздает только отпечатки былого, воспроизводит образы, какими они сохранились в памяти, собирая их по крохам. Что ж, лучше синица в руках...

СОДЕРЖАНИЕ

АБРАМ РУВИМОВИЧ ПАЛЕЙ

ВСТРЕЧИ НА ДЛИННОМ ПУТИ

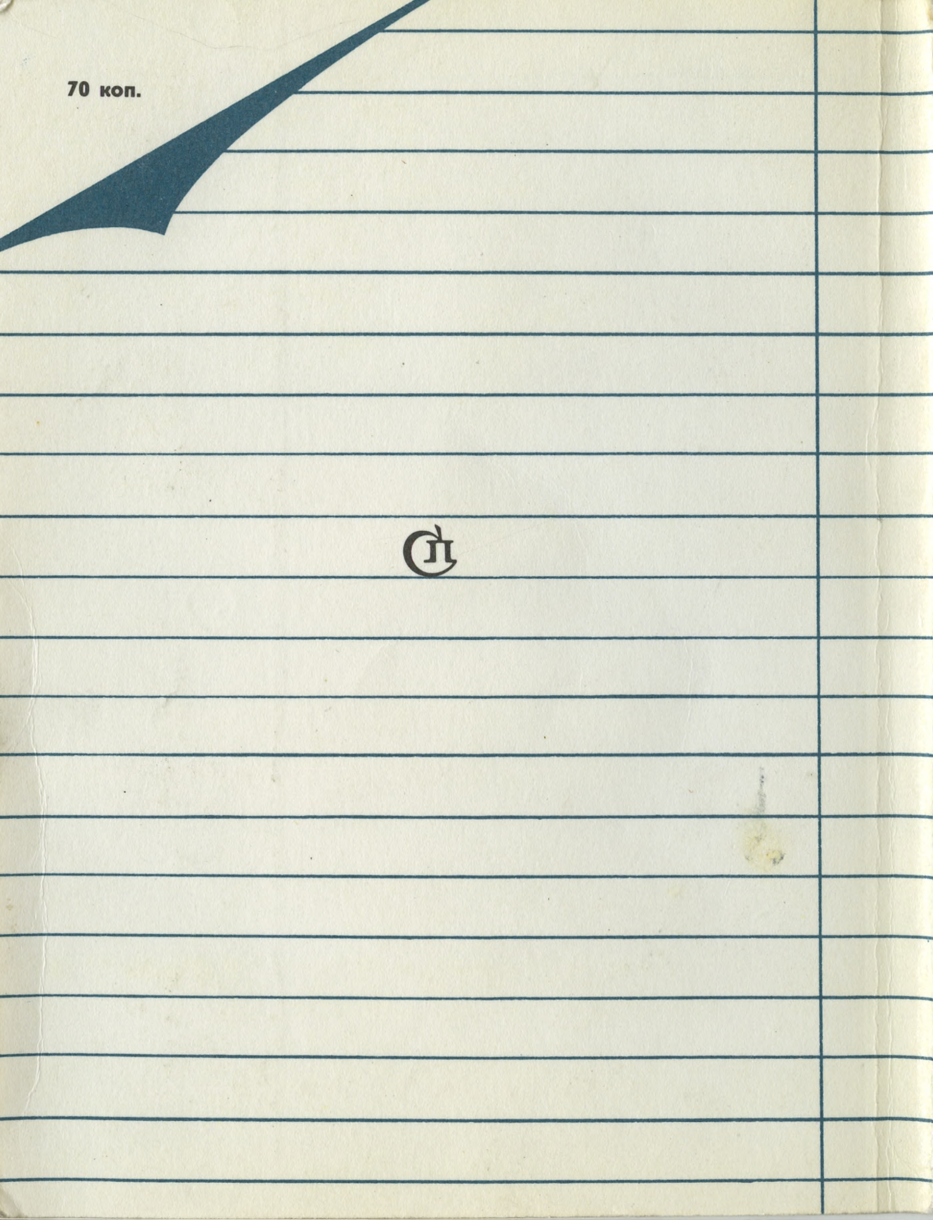
Редактор **Е. Л. Скандова**
Художественный редактор **Е. Ф. Капустин**
Технический редактор **Н. Ю. Владимирова**
Корректор **А. В. Муравьева**

ИБ № 7443

Сдано в набор 17.11.89. Подписано к печати 15.03.90. А 03046. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,20. Уч.-изд. л. 10,88. Тираж 30 000 экз. Заказ № 711. Цена 70 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Государственного комитета СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109


70 коп.